

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Том 3. № 3. 2003

S O C I O L O G I C A L
R E V I E W

Московская школа социальных и экономических наук

Центр фундаментальной социологии

Социологическое обозрение

ISSN 1728-192X (Print)
ISSN 1728-1938 (Online)

Том 3. № 3. 2003

Интернет-версия журнала на сайтах www.sociologica.net
www.sociologica.ru

Главный редактор – Александр Фридрихович Филиппов
Ответственный секретарь – Марина Геннадиевна Пугачева
Редактор сайта – Сергей Петрович Еремин
Литературный редактор – Каринэ Акоповна Щадилова

Адрес редакции: mail@sociologica.net

Журнал выходит четыре раза в год

Проект осуществляется при финансовой поддержке
Национального фонда подготовки кадров

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕВОДЫ

Гарольд Гарфинкель

Рациональные свойства научных и обыденных действий 3

Гёран Терборн

Сомнительные идеалы и неясные результаты: демократия, гражданское общество,
права человека и социальная справедливость 18

Томас Лукман

Замечания об описании и интерпретации диалога 41

РЕФЕРАТЫ

Ганс-Петер Мюллер

Социальная структура и жизненные стили. Новый теоретический дискурс
о социальном неравенстве 52

РЕЦЕНЗИИ

Александр Филиппов

Теория систем. Аутопойесис продолжается» - 2. 56

ОБЗОРЫ

Сергей Кравченко

Российская социология в Мурсии.
К итогам 6-ой конференции Европейской социологической ассоциации 61

СТАТЬИ И ЭССЕ

Виктор Вахштайн

К проблеме темпоральных механизмов социальной организации пространства.
Анализ резидентальной дифференциации 71

Римма Шпакова

«Завтра было вчера» 84

ПЕРЕВОДЫ

Гарольд Гарфинкель

Рациональные свойства научных и обыденных действий*

Программа социологии как дисциплины требует от социолога научного описания мира, которое включает в качестве проблематических феноменов не только действия другого человека, но и знания другого человека о мире. В результате социолог не может избежать принятия *некоторого* рабочего решения по поводу совокупности различных феноменов, подразумеваемых под термином «рациональность».

Обычно социологи-исследователи принимают это решение путем выбора одной или более характеристик среди свойств научной деятельности, ее идеального описания и понимания¹. Это определение затем используется методологически, чтобы помочь исследователю при определении как реалистических, так и патологических, склонных к предубеждению, обманчивых, мифических, магических, ритуальных и тому подобных свойств каждодневного поведения, мышления и верований.

Но поскольку социологи с неизменной частотой обнаруживают, что имеют место эффективные, устойчивые и стабильные действия и общественные структуры, несмотря на очевидные несоответствия между знанием и методами непрофессионала и идеального ученого, они нашли, что рациональные свойства, которые были бы эмпирически различимы по их определениям, совершенно неинтересны. Они предпочитают вместо этого изучать свойства и условия отсутствия рациональности в человеческом поведении. В результате в большинстве имеющихся теорий социального действия и социальных структур рациональным действиям присваивается остаточный статус.

В данной работе мы, в надежде скорректировать эту тенденцию, ставим целью избавиться от этого остаточного статуса, заново вводя в качестве задачи эмпирического исследования а) различные рациональные свойства поведения, а также б) условия социальной системы, при которой различные рациональные свойства поведения имеют место.

Рациональные свойства поведения

«Рациональность» использовалась для обозначения множества различных способов поведения. Список таких способов можно создать, не совершая теоретический выбор того или другого определения термина «рациональность». В классической работе Альфреда Шюца по проблеме рациональности² приводится набор значений «рациональность» и является тем самым нашей отправной точкой.

* *Garold Garfinkel*. Studies in Ethnomethodology. Prentice Hall Inc., New Jersey, 1967. Chapter 8. The rational properties of scientific and common sense activities

Перевод главы 2. См. «Социологическое обозрение». 2002. №1. Т.2, главы 3. См. «Социологическое обозрение». 2003. №1. Т. 3.

© Центр фундаментальной социологии, 2003.

© Турчанинова Ю.И., Гусинский Э.Н., 2003.

¹ Одно из определений, пользующихся сейчас успехом, известно как правило эмпирически адекватных средств. Действия человека понимаются исследователем как шаги при выполнении задач, возможные и реальные исполнения которых определяются эмпирически. Эмпирическая адекватность затем определяется в понятиях правила научной процедуры и свойств знания, производимого такой процедурой.

² Alfred Schutz, "The Problem of Rationality in the Social World," *Economics*, Vol. 10, May 1953.

Если принять различные смыслы понятия, учтенные Шюцем, за описания поведения, то получается следующий список. В оставшейся части работы эти виды поведения будем называть «рациональными».

1) *Категоризация и сравнение*. Для человека является обычным искать в своем прежнем опыте ситуацию для сравнения с той, с которой он сталкивается. Иногда рациональность относится к самому тому *факту*, что человек ищет сравнимые ситуации, а иногда – к *стремлению* сделать вещи сравнимыми. Сказать, что человек обращается к задачам сравнения, значит сказать, что он рассматривает ситуацию или человека (или проблему) как типичный случай. Тем самым понятие «степени рациональности» указывает на экстенсивность занятий классификацией, частоту этой деятельности, успех его занятий этой деятельностью; такого рода поведения зачастую и имеют в виду, когда говорят, что действия одного лица более рациональны, чем действия другого.

2) *Допустимая ошибка*. Человек может «требовать» различия степеней «счастливого совпадения» между наблюдением и теорией, в понятиях которой он именуется, измеряет, описывает или как-то придает смысл «данных» своему наблюдению. Он может уделять мало или много внимания степени совпадения. В одном случае он позволит описать происшедшее литературной аллюзией. В другом случае он будет искать математическую модель для упорядочения происходящего. В таком случае иногда говорят, что один человек рационален, а другой нет (или в меньшей степени рационален), подразумевая под этим, что данный человек уделяет больше внимания, чем его сосед, степени совпадения между наблюдаемым и тем, что собирался обнаружить.

3) *Поиск «средств»*. Под рациональностью иногда подразумевают, что человек применяет правила процедуры, которая в прошлом давала практический успех, к сегодняшним действиям. Иногда это сам факт переноса правил действий, которые приносили результат в ситуациях схожего типа; иногда это частота таких попыток; в других случаях рациональный характер его действий видят в способности и склонности человека использовать в сегодняшней ситуации методы, которые срабатывали в других ситуациях.

4) *Анализ альтернатив и следствий*. Зачастую термин «рациональность» используется, чтобы привлечь внимание к тому факту, что человек при оценке ситуации предвосхищает те изменения, которые могут произвести его действия. Имеется в виду не только сам факт «репетиции в воображении» различных ходов действия, могущих произойти, но осторожность, внимание, время и продуманность анализа по отношению к альтернативным ходам действий. Число альтернативных линий действий-которые-будут-завершены, ясность, степень детализации, живость, объем информации, которые наполняют схематику конкурирующих линий действий, — все это подразумевается, когда действия человека называются «рациональными».

5) *Стратегия*. Прежде реального события выбора человек может приписать конкретному набору альтернативных ходов действия те условия, при которых им нужно следовать. Фон Найман и Моргенштерн назвали набор таких решений стратегией игрока³. Набор таких решений может быть назван стратегическим характером ожиданий действующего. Про человека, который действует исходя из того, что завтрашние обстоятельства будут схожи с прошлыми, иногда говорят, что он действует с меньшей рациональностью, чем тот, который учитывает возможные альтернативные будущие состояния текущей ситуации и использует руководства типа «что-делать-в-таком-случае».

6) *Учет временного параметра*. Когда мы говорим, что человек собирается в результате определенного поведения реализовать будущее состояние дел, мы имеем в виду, что таким образом этот человек предполагает своего рода расписание событий. Учет временного параметра включает и оценку позиции по отношению к возможным путям этого развития. Определенное и ограниченное во времени расписание возможностей

³ John von Neumann и Oskar Morgenstern, *Theory of Games u Economic Behavior* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1947), p. 79.

рассматривается как «меньшая рациональность», чем та, при которой человек ориентируется на такое развитие событий в будущем, когда «все может случиться».

7) *Предсказуемость*. Очень конкретные ожидания от временного планирования могут сопровождаться учетом предсказуемых характеристик ситуации. Человек может искать предварительную информацию о ситуации, чтобы установить некоторые эмпирические константы, или он может пытаться сделать ситуацию предсказуемой, изучая логические свойства построений, которые он использует «при определении» или при пересмотре правил, управляющих использованием его построений. Соответственно, превращение ситуации в предсказуемую означает принятие всех возможных мер для уменьшения «эффекта неожиданности». Как само желание «уменьшения неожиданности», так и использование всех мер для получения такого результата часто является поведенчески подразумеваемыми условиями рациональности.

8) *Процедурные правила*. Иногда рациональность относится к правилам процедуры и выводов, в понятиях которых человек определяет правильность своих суждений, заключений, восприятий и характеристик. Такие правила находят путем определения чего-то как *известного* — различия, например, между фактом, предположением, свидетельством, иллюстрацией и догадкой. Для наших целей можно выделить два важных класса таких правил верного решения: «картезианские» правила и «племенные» правила. Картезианские правила предлагают считать решение верным, если человек следовал правилам, невзирая на лица, *то есть* принимал решения «как бы это сделал любой», когда все вопросы социальной принадлежности рассматриваются как специфически нерелевантные. Наоборот, «племенные» правила диктуют правильность решения с учетом определенных общественных договоренностей как условий решения. Человек считает свое решение правильным или не правильным в соответствии с тем, какая референтная группа требует согласования.

Термин «рациональность» часто используется как ссылка на применение декартовых правил решения. Поскольку конвенции могут налагать ограничения на такое принятие решений, то степень, в которой эти ограничения подавляются, контролируются или сделаны неэффективными и нерелевантными, является еще одним зачастую используемым смыслом, придаваемым рациональности.

9) *Выбор*. Тот факт, что человек знает о фактической возможности осуществления выбора и осуществляет его, также является распространенным смыслом рациональности.

10) *Основания выбора*. Основания, на которых человек осуществляет выбор между альтернативами, а также основания, используемые для легитимации выбора, часто указывают как рациональные свойства действия. Следует различать несколько разных поведенческих значений термина «основания».

а) Рациональные основания иногда относятся исключительно к научному термину информации как к набору утверждений⁴, которые рассматриваются человеком как правильные основания для будущих заключений и действий.

б) Рациональные основания иногда относятся к таким свойствам человеческого знания, как «прекрасная» или «объемная» структура используемых им характеристик, или к тому факту, состоит ли его «набор» из историй в противовес универсальным эмпирическим законам, или к степени, до которой материалы кодифицируются, или к согласованности используемого корпуса с корпусом научных утверждений.

в) Поскольку основаниями выбора являются стратегии действия (как было отмечено в пункте 5), постольку имеет место другой смысл понятия рациональности.

г) Основаниями человеческого выбора могут служить те, которые он буквально *находит* посредством ретроспективной интерпретации текущего результата. Например, он может осознать наличие оснований в ходе историзации результата в попытке определить, что было «реально» решено прежде. Тем самым если текущие данные рассматриваются как

⁴ Концепция *свода* знания взята из Felix Kaufmann, *Methodology of the Social Sciences* (New York: Oxford University Press, 1944), особенно стр. 33-66.

ответ-на-какой-то-вопрос, то они могут мотивировать вопрос, ответом на который они являются. Выбор, упорядочение и унификация исторического контекста действия после его совершения (для представления социально приемлемого или связного его описания) является вполне известным значением понятия «рационализации».

11) *Совместимость взаимоотношений «цель-средства» с принципами формальной логики.* Человек может рассматривать предполагаемый ход действия как набор шагов в решении проблемы. Он может упорядочить эти шаги как набор взаимоотношений целей-средств, но считать проблему решенной, только если эти взаимоотношения обеспечиваются без нарушения идеала полной совместимости с принципами формальной научной логики и правилами научной процедуры⁵. Сам факт, что он может так делать, частота, с которой он это делает, его упорство в обращении с проблемами таким образом или его успех в следовании такой процедуре – это альтернативные пути указания рациональности его действий.

12) *Семантическая ясность и отчетливость.* Попытка человека обращаться с семантической ясностью конструкции как с переменной с максимальным значением, которое может быть аппроксимировано, зачастую рассматривается как требуемый шаг при решении проблемы конструирования правдоподобного определения ситуации. Человека, который отказывается поверить до тех пор, пока не выполнены условия приближения к максимальному значению, часто считают более рациональным, чем того, кто верит в тайну.

Человек может придавать большое значение задачам прояснения конструкций, которые составляют определение ситуации и определяют совместимость таких конструкций со смыслом, заложенным в используемых другими терминологиях. С другой стороны, он может обращать на такие задачи мало внимания. Иногда говорят, что первый человек проявляет больше рациональности, чем второй.

13) *Ясность и отчетливость «ради ясности и отчетливости».* Шюц указывает, что интерес к ясности и отчетливости может быть адекватным для целей данного человека. Различные возможные взаимоотношения, идеальные или реальные, между а) интересом к ясности и б) целями, которым служит ясность конструкции, демонстрируют дополнительные поведенческие значения рациональности. Используются две переменные: 1) внимание, требуемое для задач прояснения, и 2) значение, придаваемое человеком выполнению данного проекта. Одна взаимосвязь между этими переменными делает саму задачу прояснения проектом, требующим завершения. Этот и есть «прояснение как таковое». Но взаимосвязь между двумя переменными можно рассматривать как состоящую в некоторой степени из независимой переменности. Такая взаимосвязь подразумевалась бы, когда в качестве идеала рассматривалось бы «прояснение, достаточное для текущих целей». Рациональность часто означает высокую степень зависимости одного от другого. Такая зависимость (рассматриваемая как правило исследовательского или интерпретативного поведения) иногда подразумевается в различии между «чистыми» и «прикладными» исследованиями.

14) *Совместимость определения ситуации с научным знанием.* Человек может допускать, чтобы то, что он рассматривает как «суть дела», критиковалось в понятиях ее совместимости с совокупностью научных результатов. В качестве описания действий человека «дозволенная легитимность такой критики» означает, что в случае продемонстрированного несоответствия то, что человек рассматривает как правильные основания для заключений и действий (смысл «факта»), будет изменено им, чтобы приспособить к тому, что имеет место с научной точки зрения. Часто говорят, что действия человека рациональны в той степени, в какой он приспособливает (готов приспособливать) то, что имеет место с научной точки зрения.

Зачастую рациональность отсылает к тем чувствам человека, которые сопровождают его поведение, *например*, «аффективная нейтральность», «отсутствие эмоций»,

⁵ Когда оно рассматривается как правило для определения описательной категории действия, это свойство известно как правило эмпирической адекватности средств.

«самостоятельность», «незаинтересованность», «безличный». Для теоретических задач этой работы тот факт, что человек может испытывать такие чувства к своей среде, не представляет интереса. Интересно, однако, то, что человек использует свои чувства относительно среды для того, чтобы наделить вещь, о которой он говорит, смыслом, или обосновать правомочность результата. Ничто не запрещает исследователю страстно надеяться на подтверждение его гипотезы. Ему запрещено, однако, использовать свою страстную надежду или свою эмоциональную отстраненность при наделении смыслом или подтверждении правомочности предложения. Про человека, который рассматривает свои чувства к предмету как нерелевантные к его смыслу или правомочности, иногда говорят, что он поступает рационально, а про человека, который придает смысл и правомочность, опираясь на свои чувства, говорят, что он действует менее рационально. Это справедливо, однако, только для идеально описанных научных действий.

Научная рациональность

Упомянутые модели рациональности можно использовать для конструирования определенного поведенческого типа. Можно представить себе человека, который способен⁶ отыскивать в текущей ситуации моменты, сравнимые с ситуацией, известной ему в прошлом, и искать в своем прошлом опыте формулы, дающие, как он теперь видит, практическое действие, необходимое ему сейчас. Решая эту задачу, он может обращать пристальное внимание на моменты сравнимости. Он может предвидеть последствия своих действий в соответствии с формулами, которые ему представлялись. Он может «проигрывать в воображении» различные конкурирующие линии действия. Он может присвоить каждой альтернативе (до реального момента выбора) условия, при которых надо следовать любой из этих альтернатив. Наряду с таким структурированием опыта человек может намереваться посредством своего поведения реализовать задуманный результат. Это намерение может заключать в себе его особое внимание к предсказуемым характеристикам ситуации, манипулировать которой он хочет. Его действия могут заключать в себе выбор между двумя или более средствами для достижения одних и тех же целей или выбор между целями. Он может определять правильность своего выбора, привлекая эмпирические законы и так далее.

Когда мы пытаемся расширить свойства этого типа поведения для включения в него всех предыдущих типов рациональностей, в этот список вмешивается различие между интересами повседневной жизни и научного теоретизирования. Когда действия человека управляются «установкой повседневной жизни», могут проявиться все типы рациональности за *четырьмя важными исключениями*. Сформулированные как идеальные максимы поведения, эти исключительные типы рациональности требуют, что ожидаемые шаги в решении проблемы или выполнении задачи, *то есть* «отношения средства-цели», будут создаваться таким образом, чтобы 1) они оставались полностью совместимыми с правилами, определяющими научно правильные решения в отношении грамматики и процедуры; 2) все элементы понимались с полной ясностью и отчетливостью; 3) прояснение как корпуса знаний, так и правил исследовательской и интерпретирующей процедуры рассматривались как самое важное дело и 4) задуманные шаги содержали только научно проверяемые предположения, которые должны быть полностью совместимы со всей совокупностью научного знания. Поведенческие корреляции этих максим были описаны ранее как рациональности (11) – (14). Для простоты ссылок я буду называть эти четыре типа рациональности «научными».

Краеугольным камнем этой работы и исследовательской программы, которая будет реализована, если ее аргументы правильны, является то, что *типы научной рациональности возникают как стабильные свойства действий и как общепринятые идеалы только в случае действий, управляемых установкой на научное теоретизирование. В отличие от этого,*

⁶ Слово «может» означает здесь «один из доступного числа альтернатив». Оно не означает схожесть.

действия, управляемые установкой повседневной жизни, особо отмечены отсутствием этих видов рациональности и как устойчивых свойств, и как общепринятых идеалов. В том, что касается действий и социальных структур, которые управляются предположениями повседневной жизни, любые попытки стабилизировать эти свойства или заставить придерживаться их путем систематического социального чередования наград и наказаний, являются операциями, требуемыми для умножения аналитических свойств взаимодействия. Однако все другие типы рациональности (1 – 10) могут иметь место в действиях, управляемых как установкой на стабильные свойства, так и на общепринятые идеалы. Этот существенный момент подробно обоснован в Таблице 1.

Предыдущие утверждения подразумеваются как эмпирические, а не как умозрительные. Реконструкция «проблемы рациональности»⁷, предложенная в этой работе, зависит от правомочности этих утверждений. Их проверка зависит от жизнеспособности различения между «установкой повседневной жизни» и «установкой научного теоретизирования». Необходимо, следовательно, кратко сопоставить различные предположения, которые составляют каждую установку. Когда это будет сделано, мы вернемся к главной теме обсуждения.

⁷ Для социолога-теоретика «проблема рациональности» может рассматриваться как состоящая из пяти задач: 1) прояснения различных референтов «рациональности» команды, что включает характеристику поведенческих коррелятов различных «смыслов» рациональности как (а) действия индивида, а также б) «системных» характеристик; 2) принятие на основе опытной проверки (а не выбора теории) решения о том, какие из поведенческих показателей сочетаются; 3) решение о распределении поведенческих показателей между статусом определения и эмпирически проблемным статусом, 4) определение оснований для оправдания любого из множества возможных местоположений, которые теоретик может в конце концов сделать; и, наконец, 5) демонстрация последствий альтернативных совокупностей решений для социологического теоретизирования и исследования.

Таблица 1

СОВОКУПНОСТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ, СВЯЗЫВАЮЩИХ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ С УСЛОВИЯМИ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

	Для всех действий, управляемых правилами соответствия повседневной жизни, может ли рациональность проявиться, ЕСЛИ:			Для всех действий, управляемых правилами соответствия научному теоретизированию, может ли рациональность проявиться, ЕСЛИ:		
	Считается идеальным стандартом действия?	Считается оперативным стандартом действия?	Считается свойством текущей практики?	Считается идеальным стандартом действия?	Считается оперативным стандартом действия?	Считается свойством текущей практики?
1. Категоризация и сопоставление	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2. Допустимая ошибка	Да	Да	Да	Да	Да	Да
3. Поиск «средств»	Да	Да	Да	Да	Да	Да
4. Анализ альтернатив и следствий	Да	Да	Да	Да	Да	Да
5. Стратегия	Да	Да	Да	Да	Да	Да
6. Внимание к временной последовательности событий	Да	Да	Да	Да	Да	Да
7. Предсказуемость	Да	Да	Да	Да	Да	Да
8. Процедурные правила	Да	Да	Да	Да	Да	Да
9. Выбор	Да	Да	Да	Да	Да	Да
10. Основания выбора	Да	Да	Да	Да	Да	Да
11. Соответствие отношения «цели-средства» в формальной логике	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
12. Семантическая ясность и отчетливость	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
13. Ясность и отчетливость как таковые	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
14. Совместимость определения ситуации с научным знанием	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да

«Да» следует понимать как «эмпирически возможно в качестве устойчивого качества и/или санкционируемого идеала».

«Нет» следует понимать как «эмпирически возможно только в качестве неустойчивого качества и/или несанкционируемого идеала».

Имеется в виду, что попытки сделать качество устойчивым или принудить к его достижению посредством систематического управления поощрениями и наказаниями являются действиями, требуемыми для умножения аналитических безличных характеристик взаимодействия.

То, что эти предложения утверждают в отношении рациональностей по отдельности, равно справедливо и для любых их сочетаний.

Предположения двух установок

Установки повседневной жизни и научного теоретизирования⁸ были описаны Альфредом Шюцем⁹ в его исследованиях конститутивной феноменологии ситуаций здравого смысла¹⁰. Поскольку аргументы этой работы зависят от предположения, что эти установки не перетекают незаметно друг в друга, необходимо кратко сравнить их.

1) Шюц находит, что в повседневной ситуации «практический теоретик» достигает упорядочения событий, стараясь при этом сохранить и ввести предположение, что объекты внешнего мира таковы, какими они являются нам. Человек, занятый повседневными делами, ищет их интерпретацию, придерживаясь линии «официального нейтралитета» по отношению к интерпретационному правилу, допускающему сомнение, что объекты внешнего мира именно таковы, какими являются. Предположение действующего состоит в ожидании того, что существует взаимосвязь бесспорного соответствия между конкретными внешними проявлениями объекта и полагаемым-объектом-проявляющимся-в-определенном-виде. Из совокупности возможных взаимоотношений между действительными внешними проявлениями объекта и полагаемым объектом, как, например, взаимосвязь *сомнительного* соответствия между ними, человек ожидает, что предположенное бесспорное соответствие является общепризнанным. Он ожидает, что другой человек использует то же ожидание более или менее схожим образом, точно так же, как и он сам ожидает, что, эта взаимосвязь применима для другого человека, так и другой человек рассчитывает на такую применимость по отношению к нему.

В деятельности научного теоретизирования используется совершенно другое правило интерпретационной процедуры. Оно обеспечивает интерпретирование, одновременно удерживая позицию «официального нейтралитета» по отношению к *верованию*, что объекты внешнего мира таковы, какими являются. Действия повседневной жизни, конечно, позволяют действующему сомневаться, что объекты таковы, какими являются; но это сомнение в принципе ограничено «практическими соображениями» теоретика. Сомнение для практического теоретика ограничено его уважением к некоторым ценным, более или менее рутинным свойствам социального порядка, рассматриваемого «изнутри», которые он конкретно не ставит и не будет ставить под сомнение. Действия научного теоретизирования, напротив, управляются странным идеалом сомнения, который в принципе неограничен и который в частности не признает нормативных социальных структур как ограничивающих условий.

2) Шюц ссылается на второе предположение, как на практический интерес человека к событиям в мире. Релевантные свойства событий, выбираемых его интересом, несут для человека в качестве неизменного свойства тот факт, что они фактически и потенциально могут воздействовать на участвующего в них, и на них, в свою очередь, могут отразиться его действия. При таких свойствах событий точность упорядочения их может предположительно проверяться и быть доступной проверке без нарушения релевантности того, что он знает как

⁸ Чтобы избежать непонимания, я хочу подчеркнуть, что здесь речь идет об установке научного *теоретизирования*. Установка, которая направляет процесс научного исследования – это совсем другое дело.

⁹ Alfred Schutz, "The Stranger," *American Journal of Sociology*, Vol. 49, May, 1944; "The Problem of Rationality in the Social World," *Economica*, Vol. 10, May, 1943; "On Multiple Realities," *Philosophy u Phenomenological Research*, Vol. 4, June, 1945; "Choosing among Projects of Action," *Philosophy u Phenomenological Research*, Vol. 12, December, 1951; "Common Sense и Scientific Interpretation of Human Action," *Philosophy u Phenomenological Research*, Vol. 14, September, 1953.

¹⁰ В соответствии с программой, отношением и методом феноменологии Гуссерля он искал предположения и соответствующие свойства среды, подразумеваемые ими, которые были бы инвариантны по отношению к конкретному содержанию действий и их объектов. Список не является исчерпывающим. Дальнейшие исследования должны открыть другие. Как любой продукт наблюдения, они имеют временный статус, "пока не будет продемонстрировано обратное."

факт, предположение, догадку, фантазию и тому подобное благодаря своей телесной и социальной позиции в реальном мире. События, их взаимоотношения, их каузальная текстура не являются для него предметами теоретического интереса. Он не санкционирует мнение, что при работе с ними разумно было бы использовать правило интерпретации, что он ничего не знает, или может предположить, что ничего не знает, а «просто посмотреть, куда это ведет». В повседневной ситуации то, что он знает – это составная часть его социальной компетентности. Он предполагает, что то, что он знает и то, как он это знает, персонифицирует его как социальный объект как для себя самого, так и для других добросовестных членов группы. Он санкционирует свою компетентность как добросовестного члена группы в качестве условия уверенности в том, что его понимание смысла своих каждодневных дел является реалистичным.

В отличие от этого интерпретационные правила отношения научного теоретизирования работают так, что смысл и точность модели должны проверяться и определяться, не учитывая суждения о релевантности того, что знает теоретик благодаря своей материальной и социальной позиции в реальном мире.

3) Шюц описывает временную перспективу повседневной жизни. В своих повседневных действиях человек преобразует поток опыта во «временные интервалы». Он делает это, используя схему временных отношений, которую, как он полагает, используют он и другие лица эквивалентным и стандартизированным образом. Его разговор состоит для него не только из событий его опыта, но и из того, что было сказано или могло быть сказано в моменты времени, соответствующие указанным положениям часовых стрелок. «Смысл разговора» не только воспринимается через последовательность воспринятых смыслов его уже выполненной программы, но каждое «уже» направляется его ожиданиями. Далее, при каждом Здесь-и-теперь, а также при некоторой последовательности Здесь-и-теперь разговор имеет для него как ретроспективное, так и проспективное значение. Сюда входят ссылки Здесь-и-теперь на начала, длительность, темп, фазы и завершение. Такие определения «внутреннего времени» в потоке опыта скоординированы с социально употребимой схемой временных определений. Он использует схему стандартного времени в качестве средства планирования и координации своих действий с действиями других, для согласования своих интересов с интересами других и выравнивания темпов. Его интерес в стандартном времени направлен на проблемы, которые решают такие конкретные проблемы в планировании и координации взаимодействия. Он также предполагает, что схема стандартного времени является полностью общественным достоянием, некими «одними большими часами, одинаковыми для всех».

Существуют и другие, противоположные, способы временной разметки потока опыта, которые создают осмысленный набор событий во «внешнем мире». Когда человек занят научным теоретизированием, стандартное время используется как средство конструирования одного из альтернативных эмпирически возможных миров (предполагая, конечно, что теоретик заинтересован в фактах). Тем самым то, что из его интересов в освоении практических дел привело бы его к использованию времени для подстраивания его интересов к поведению других, то для его интересов в качестве социолога является «просто» средством для решения его научной проблемы, которая состоит в ясной формулировке программ скоординированных действий в духе отношений причины и следствия. Другое понимание времени имеет место при восприятии событий, изображенных «внутри театральной пьесы». Интересы в стандартном времени уходят в сторону как нерелевантные. Когда он думает о социальных структурах, изображенных в романе, например, *Этан Фром*, он позволяет судьбе любовников предшествовать и выступать условием для оценки последовательности шагов, которые привели к развязке.

4) Управляясь со своими повседневными делами, человек предполагает бытующую схему взаимодействия по-другому, нежели теоретик. Человек в повседневной жизни получает представление о смысле событий посредством использования заранее предполагаемого фона «естественных жизненных фактов», которые, с его точки зрения,

«Любой из Нас» обязан знать и доверять им. Использование таких естественных жизненных фактов является условием продолжения добросовестного членства в группе. Он полагает, что такой фон использует и он, и другие в виде морально довлеющих «правил кодирования». В понятиях этих правил он определяет правильное соответствие между конечным явлением объекта и предполагаемым-объектом-являющимся-определенным-образом.

Такое предположение об общем intersубъективном мире коммуникации поразительно меняется в деятельности научного теоретизирования. «Релевантные другие лица» для теоретика — это универсализированные «Все люди». Они в идеале – бестелесные руководства по правильным процедурам для определения восприимчивости, объективности и справедливости. Конкретные коллеги являются в лучшем случае простительно несовершенными примерами таких весьма абстрактных «компетентных исследователей». Теоретик обязан знать только то, чему он решил доверять. У него просто есть возможность верить результатам коллег на основании членства в профессиональном или каком-то другом сообществе. Если он отказывает кому-то в доверии, то ему позволяется оправдывать это, используя в качестве основания свою принадлежность сообществу «компетентных исследователей», являющихся анонимными по отношению к коллективному членству и чьи действия соответствуют нормам учебника процедур. Такие действия могли бы вызвать критику за неразумный ригоризм, но в повседневной жизни такого человека сочли бы большим, сумасшедшим или преступником.

(5) Человек принимает особую «форму социальности». Среди прочего эта форма состоит из предположения, что существует некоторое характерное несоответствие между «образом» себя, который он приписывает другим лицам как знание о нем, и знанием, которое он имеет о себе в «глазах» другого человека. Он принимает также, что изменения этого характерного несоответствия остаются под его автономным контролем. Это предположение используется в качестве правила, когда теоретик повседневной жизни группирует свой опыт по отношению к тому, что кому подходит. Это соответствует, тем самым, общему intersубъективному миру коммуникаций, чье неписаное знание в глазах его участника распределено среди людей в качестве оснований их действий, *то есть* их мотивов или, в радикальном смысле этого термина, их «интересов», как составляющих социальных взаимоотношений. Он принимает, что есть вещи, известные одному человеку, которые, как предполагает этот человек, неизвестны другим. Незнание одной стороны состоит в том, что другой знает то, что мотивационно релевантно первому. Тем самым вещи, известные обоим, как бы заполняются личной сдержанностью, вещами, которые выборочно утаиваются. Итак, события повседневных ситуаций заполняются этим всеобъемлющим фоном «смыслов, остающихся в резерве», вещей, известных о себе и других, которые никого другого не касаются – короче, частной жизнью.

Совсем другое предположение используется в правилах, которые управляют деятельностью научного теоретизирования. В социальном характере научного *теоретизирования* отсутствует несоответствие между общественной и частной жизнью в том, что касается решений относительно смысла и справедливости. Все вещи, релевантные его изображению возможного мира, являются публичными и обнародуются.

Существуют и дополнительные предположения, но для целей данной работы достаточно лишь установить факт различия между этими «установками».

Эти две совокупности предположений не переходят плавно друг в друга и не являются различимыми лишь по степени. Скорее переход от использования одной совокупности к использованию другой — от одной «установки» к другой — производит радикальное изменение в сценическом структурировании человеком событий и их взаимоотношений. В буквальном математическом смысле две установки создают логически несовместимые совокупности событий. Природа различия между системами событий, которые порождаются двумя совокупностями интерпретационных предположений, может быть проиллюстрирована сравнением событий, которые зритель видит на своем телевизионном экране, когда обращается к событиям «сюжета», с событиями,

наблюдаемыми, когда он следит за сценой, как за набором эффектов, созданных рядом профессиональных актеров, ведущих себя в соответствии с указаниями постановщика фильма. Было бы величайшим философским дидактизмом сказать, что зритель видел «различные аспекты того же самого», или что события сюжета – это «только лишь» некритически воспринятые события постановки.

Методология

Именно к научной рациональности как к характеристике «рационального выбора» обычно обращаются авторы, пишущие о социальной организации и принятии решений. Здесь предполагается, однако, что научная рациональность не является ни свойством, ни санкционируемым идеалом выбора, осуществляемого в делах, управляемых предположениями повседневной жизни. Если это так, то проблемы, встречаемые исследователями и теоретиками относительно концепций организационных целей, взаимодействия знания и незнания, трудностей работы с осмысленными сообщениями в математической теории коммуникации, аномалий, найденных в исследованиях по заключению пари, трудностей при рационализации представления о ненормальности в свете кросс-культурных материалов – все это трудности, созданные ими самими. Проблемы связаны не со сложностями предмета, но со стремлением понимать действия с научной точки зрения, а не рассматривать действительные проявления рациональности, демонстрируемые поведением людей в ходе управления своими практическими делами.

Шюц объясняет, что он имеет в виду, когда говорит, что действующий имеет рациональный выбор¹¹:

«Рациональный выбор присутствовал бы, если бы действующий имел достаточное знание о реализуемой конечной цели, а также различные средства для достижения успеха. Но этот постулат подразумевает:

1. Знание места реализуемой цели в рамках планов действующего (которые тоже должны быть ему известны).
2. Знание ее внутренних связей с другими целями и ее совместимость или несовместимость с ними.
3. Знание желаемых и нежелательных последствий, могущих возникнуть как побочные продукты реализации главной цели.
4. Знание различных цепочек средств, которые технически или даже онтологически пригодны для достижения этой цели независимо от того, контролирует ли участник все или несколько таких элементов.
5. Знание о взаимодействии таких средств с другими целями других цепочек средств, включая все их вторичные эффекты и побочные действия.
6. Знание о доступности этих средств для действующего, который выбирает средства, находящиеся в пределах его досягаемости и которые он способен и может запустить в работу.

Вышеуказанные моменты никоим образом не исчерпывают усложненный анализ, необходимый для того, чтобы остановиться на какой-то концепции рационального выбора в действии. Сложности значительно возрастают, когда рассматриваемое действие является социальным. В этом случае дополнительными детерминантами для произвола действующего становятся следующие элементы. Первое, правильная или ложная интерпретация его собственных действий окружающими. Второе, реакция других людей и их мотивация. Третье, все указанные элементы знания 1) - 6), которые действующий правильно или неправильно приписывает своим партнерам. Четвертое, все категории узнаваемости и незнакомости, интимности и анонимности, личности и типа, которые мы обнаружили в нашем описании организации социального мира. Но тогда, спрашивает Шюц, где находится

¹¹ Schutz, "The Problem of Rationality in the Social World," pp. 142-143.

система рационального выбора? «... концепция рациональности имеет свое законное место не на уровне повседневного понимания социального мира, но на теоретическом уровне научного наблюдения его, именно здесь она находит свое поле методологического приложения».

Шюц заключает, что она находится в логическом статусе, элементах и в применении модели, с помощью которой ученый принимает решения и использует эту концепцию как схему интерпретации событий поведения.

«Это не означает, что рационального выбора не существует в сфере повседневной жизни. Действительно, достаточно было бы интерпретировать термины "ясность" и "отчетливость" в модифицированном и ограниченном смысле, в частности, как ясность и отчетливость, адекватные требованиям практического интереса действующего. ... Я хочу подчеркнуть, что идеал рациональности не есть и не может быть *специфическим* свойством повседневной мысли, не может он, следовательно, быть и методологическим принципом интерпретации условий человеческого существования в повседневной жизни».

Реконструирование проблемы рациональности таким образом, чтобы вернуть ее исследователям, состоит в предложении, чтобы социологи прекратили рассматривать научную рациональность как методологическое правило для интерпретации человеческих действий.

Говоря процедурно, как будет действовать исследователь, когда он прекратит рассматривать научную рациональность как методологическое правило?

Нормы поведения

Когда вышеуказанные рациональные свойства действия понимаются как нормы правильного поведения, можно различать четыре значения таких норм.

Во-первых, нормы могут состоять из рациональных правил, которым привержены научные наблюдатели как идеальным нормам их действий в качестве ученых. Во-вторых, термин может относиться к формам рациональности как оперативным нормам реальной научной работы. Эмпирически две совокупности норм не демонстрируют соответствия пункт-в-пункт. Например, есть рутинизация постановки задачи и решения, а также доверие к другим исследователям, присутствующие в реальных исследовательских операциях, которые обычно игнорируются руководствами по методологии. В-третьих, термин может относиться к социально используемому и социально санкционируемому идеалу рациональности. Здесь делается ссылка на такие формы рациональности, как стандарты мысли и поведения, которые сохраняют уважение к рутинным порядкам действий повседневной жизни. К таким стандартам обращаются на обыденном языке как к «разумному» мышлению и поведению. В-четвертых, существуют формы рациональности как оперативные нормы реальных действий повседневной жизни.

Использовать формы рациональности как методологический принцип для интерпретации человеческих действий в повседневной жизни означает поступать следующим образом:

1) Идеальные характеристики, которым привержены научные наблюдатели как идеальным стандартам их исследовательского и теоретизирующего поведения, используются для создания модели человека, который действует так, как диктуют эти идеалы. Такой мысленной конструкцией является, например, игрок фон Наймана.¹²

2) После того, как реальное поведение описано, поведение сконструированного человека сравнивают с поведением реального. Затем задаются вопросы вроде следующих:

¹² Рассмотрим его характеристики. Он никогда не пропускает сообщение; он выбирает из сообщения всю содержащуюся информацию; он называет вещи правильно и вовремя; он никогда не забывает; он хранит и преобразует информацию без искажений; он никогда не действует по инерции, а только на основе оценки последствий линии поведения для задачи максимизации шансов достижения искомого эффекта.

каковы отклонения реального человека от модели? Какова эффективность средств, использованных реальным человеком, если смотреть на них с точки зрения более широких знаний наблюдателя, причем такое более широкое знание типизируется как «текущее состояние научной информации»? Какие ограничения существуют на использование норм технической эффективности при достижении конечных целей? Сколько и какого типа информации требуется для решений, основывающихся на рассмотрении всех научно релевантных параметров проблемы и сколько такой информации имел реальный человек?

Одним словом, модель предоставляет некий способ указать, как действовал бы человек, если бы он планировал свою деятельность, как идеальный ученый. Далее следует такой вопрос: чем объясняется тот факт, что реальные люди не соответствуют этой модели, даже как ученые, они соответствуют ей крайне редко? Суммируя, можно сказать, что модель такого рационального человека в качестве стандарта используется для обеспечения базиса иронического сравнения; отсюда получаются знакомые различия между рациональным, нерациональным, иррациональным и арациональным поведением¹³.

Но эта модель — лишь одна из неограниченного числа моделей, которые могут быть использованы. Что еще важнее, *ее использование не вызвано никакой необходимостью*. Конечно, *модель* рациональности необходима, но только для задачи определения правдоподобного знания и *только потом оно неизбежно для научного теоретизирования*. Она не является необходимой и ее можно не использовать в действиях теоретизирования, используемых для понимания дел в повседневной жизни.

Она необходима для научного теоретизирования, но не из-за некой онтологической характеристики событий, которую ученые стремятся понять и описать.

Она необходима потому, что правила, которые используются как верные основания для дальнейшего заключения (*то есть* само определение правдоподобного знания), описывают такие санкционируемые процедуры, как, например, запрещение двум несовместимым или противоречивым утверждениям быть использованными вместе в качестве законных оснований при выводе другого предложения. Поскольку определение правдоподобного знания, научного или иного, состоит из правил, которые управляют использованием утверждений в качестве оснований дальнейшего заключения и действия, необходимость модели обеспечивается, в первую очередь, решением действовать в соответствии с этими правилами¹⁴. Модель рациональности для научного теоретизирования буквально состоит из того теоретического идеала, что смысл этих правил может быть ясно объяснен.

Это — следствие того факта, что действия исследования и интерпретации управляются необычными для здравого смысла правилами научных действий — решение использовать предложение как основания для дальнейшего заключения меняется независимо от того, может или нет использующий его ожидать *социальной* поддержки в связи с его использованием. Но в действиях, управляемых предположениями повседневной жизни, основа правдоподобного знания не подвержена таким жестким ограничениям, касающимся использования утверждений в качестве законных оснований для дальнейшего заключения и действия. В рамках правил релевантности повседневной жизни правильно использованное предложение — это такое, при исполнении которого действующий ожидает социальной поддержки, с помощью которой он предоставляет другим доказательство своей благонадежности.

¹³ Vilfredo Pareto, *The Mind and Society*, ed. Arthur Livingston (New York: Harcourt Brace & World, Inc., 1935), особенно Vol. I. Marion J. Levy, Jr., *The Structure of Society* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1952).

¹⁴ Kaufmann, *op. cit.*, pp. 48-66.

Рациональности как данные

Нет никакой необходимости в том, чтобы определение рационального действия конструировалось с целью понять поле наблюдаемых событий поведения. Этот результат имеет важное и парадоксальное следствие, позволяющее нам изучать свойства рационального действия более пристально, чем когда-либо ранее¹⁵. Вместо того, чтобы использовать представление об идеальном ученом и благодаря этому создавать описательные категории поведения — а рациональное, нерациональное, иррациональное и арациональное поведение являются именно такими категориями — рациональные характеристики действий могут быть направлены лишь на эмпирическую задачу их описания, поскольку они находятся отдельно в вышеприведенном списке форм рациональности или в кластерах этих характеристик. Потом можно обратиться к условиям действий человека и к его характерным взаимоотношениям к другим, как к факторам, которые могут объяснять присутствие этих форм рациональностей, но без иронического сравнения.

Вместо того, чтобы рассматривать свойства рациональности как методологический принцип для интерпретаций деятельности, их следует рассматривать только как эмпирический, проблематичный материал. У них будет только статус данных, их придется объяснять так же, как и более знакомые свойства поведения. Мы можем спросить, какие свойства распределения статусов определяют степень рациональности действий участников так же, как мы могли бы спросить, какие свойства распределения статусов релевантны по отношению к примеру состязательного поведения или организованного несогласия, поиска козлов отпущения, шансам трудовой мобильности или чего угодно. Затем потребуются ответы на такие, например, вопросы, как: почему рациональность научного теоретизирования разрывает непрерывность действия, управляемого установкой повседневной жизни? Что есть такого в социальном устройстве, что не дает преобразовать эти «отношения» одно в другое без серьезных нарушений непрерывной деятельности, управляемой каждым? Каковы должны быть социальные порядки, чтобы большее число людей, как мы знаем их в нашем обществе сегодня, смогло бы не только принять без затруднений научное отношение к миру, но оказались бы, благодаря успешному его использованию, более жизнеспособными по сравнению с теми, для кого такое отношение является чуждым, а нередко и отталкивающим? Одним словом, рациональные свойства поведения могут быть изъяты социологами из сферы философских комментариев и переданы эмпирическому исследованию.

Можно сформулировать общее правило, которое вбирает в себя бесчисленные исследовательские проблемы: *любой фактор, который мы считаем зависящим от любого из свойств деятельности, является фактором, который зависит от рациональности.* Это правило заявляет, что такие факторы, как территориальная структура, число лиц в сети, уровень оборота, правила о том, кто с кем может взаимодействовать, зависящие от времени свойства сообщений, распределения информации, а также операции для изменения таких распределений, число и местоположение пунктов «преобразования» информации, свойства правил и языков кодирования, стабильность социальных рутин, структурный или *ad hoc* пример напряжения в системе, свойства структур престижа и власти и так далее должны рассматриваться как определяющие **рациональных свойств** действий, которые **управляются** установкой повседневной жизни.

¹⁵ Именно из-за отсутствия "научной рациональности" в действиях, составляющих рутинные социальные структуры, само рациональное действие становится проблематичным, как это и подразумевалось в забытом различении Макса Вебера формальной и субстанциональной рациональности.

Заключение

Целью данной работы было предложить гипотезу о том, что формы научной рациональности неэффективны в действиях, управляемых предположениями повседневной жизни. Формы научной рациональности не являются ни стабильными свойствами, ни санкционируемыми идеалами повседневных рутин, и любая попытка стабилизировать эти свойства или добиться соответствия с ними в повседневном поведении только увеличивает бессмысленный характер поведенческой среды человека и умножает дезорганизацию системы взаимодействия.

Перевод с английского Турчаниновой Ю.И., Гусинского Э.Н.

Гёран Терборн

Неопределенные идеалы и неясные результаты: демократия, гражданское общество, права человека и социальная справедливость*

Введение

В работе доказываются следующие положения. Первое: идеалу демократии присуща неопределенность, что связано со сложными вопросами универсального, не специфичного для определенного пространства, характера. Второе: понятие «гражданское общество» мало подходит для решения аналитических и практических задач, а также для использования в качестве инструмента, с помощью которого можно разобраться во многих сложных проблемах, касающихся отношений государство – общество, демократия – общество. Третье: ключом к пониманию того, как соотносятся демократические идеалы и демократическая реальность, является вопрос о правах человека и о требованиях социальной справедливости.

Первый аргумент вытекает из буквального смысла и идеала демократии как «власти народа» [“rule by the people”] и следующих отсюда вопросов о «народе» [“people”] и «власти» [“rule”]. Кто представляет народ, где лежат границы между народом и не-народом или другим народом? Может ли быть более одного народа при власти народа? Откуда происходит народ? Как формируются субъекты самоуправления? – Последнее предполагает также, что семья с точки зрения демократии не может рассматриваться как заданная ценность.

Откуда мы знаем или как определяем то, над чем должна осуществляться власть? И насколько широко вообще она может быть распространена?

На эти и связанные с ними вопросы исторический опыт дает разные ответы явным или неявным образом. Теория демократии не дала прямых ответов. Народные основания власти могут принимать различные, подчас парадоксальные, формы. Недавно возникший феномен западных обществ – постдемократический либерализм ставит новые вопросы, касающиеся современных либеральных демократий.

Как нормативный аргумент против авторитарных режимов понятие гражданского общества доказало свою полезность, с его помощью можно прояснить некоторые принципы функционирования современных демократий. Однако для решения проблем соотношения демократических идеалов и реально существующих демократий понятия гражданского общества недостаточно.

Базовая структура современного дискурса [discourse] о гражданском обществе имеет три фундаментальные характеристики. Во-первых, гражданское общество как нормативное понятие, понятие блага, более конкретно – понятие для нормативного раскрытия социального пространства. Во-вторых, как понятие, разделяющее государство и общество, а не концентрирующееся на взаимосвязи между ними. В-третьих, гражданское общество как политическое понятие, представляющее общество с точки зрения политики, государства и политической власти.

Вследствие процедурной нормативности и несоциального, неэкономического характера концепции социальных отношений между людьми современный дискурс о гражданском обществе не освещает различий в ресурсах и культурах граждан, а также конфликты их интересов.

* Göran Therborn. Ambiguous Ideals and Problematic Outcomes: Democracy, Civil Society, Human Rights, and Social Justice

© Центр фундаментальной социологии, 2003

© Горбунова Екатерина, 2003

Вместо этого предлагается, с точки зрения соотношения демократических идеалов и демократических реалий, посмотреть на социальное производство граждан [social production of citizens], на публичную сферу как поле конкуренции и конфликта, а также на фактическое взаимодействие между государствами, НКО и СМИ в формировании надгосударственного нормативного порядка.

В результате, итог либеральных демократий XX века в сфере прав человека и социальной справедливости оказывается мрачным. Демократии продемонстрировали свою способность к массовым убийствам безоружных людей, к расистской и сексистской дискриминации, воспроизводству в огромных масштабах бедности и нищеты. Это следствия свойственным либеральным демократиям внутренней и глобальной маргинализации и демонизации врагов. Никакого поворота к лучшему не видно, и доклады ПРООН (Программа развития ООН), ЮНИСЕФ и Мирового Банка о социальном состоянии мира в XX веке завершаются всегда на пессимистической ноте.

В такой ситуации вопросы о правах человека и о власти народа могут сформировать основу для критического дискурса, но не гражданское общество. Возможной движущей силой для изменения ситуации могут послужить требования и движения за социальную справедливость всех тех, кто сейчас страдает от дефицита человеческих прав и демократии.

Пропущенные вопросы

Папская академия социальных наук справедливо поставила в повестку дня проблематику соотношения идеалов демократии и демократических реалий. Эта тема была затронута в ходе двух предыдущих обсуждений Академией в основном как одна из специфических проблем современных демократий в целом и третьего мира в частности. В данной работе будут доказаны следующие утверждения. Первое: идеалу демократии присуща неопределенность, что связано со сложными вопросами универсального, а не специфичного только для определенных регионов, характера. Второе: понятие «гражданское общество» мало подходит для решения аналитических и практических задач, а также для использования в качестве инструмента, с помощью которого можно разобраться во многих сложных проблемах, касающихся отношений государство – общество, демократия – общество. Третье: ключом к пониманию того, как соотносятся демократические идеалы и демократическая реальность, является вопрос о правах человека и о требованиях социальной справедливости; вопрос о последней до настоящего времени Академией фактически не обсуждался.

Анализ понятия «демократия»

Традиционно демократию рассматривают как an institution tout court¹ в нормативном, описательном или объяснительном смыслах. Здесь мы видим «модели демократии», исследования электоральных систем и систем управления, а также попытки объяснить усиление или уменьшение роли демократических институтов. Это, безусловно, важные темы, хотя к ним порой начинают относиться как к волшебной палочке, способной объяснить все. В данной работе я хочу сделать нечто другое: рассмотреть демократию как комплекс изменяющихся институтов, находящихся в исторически непостоянной и географически неоднородной социальной ситуации, а также в ситуации не равновозможных альтернатив (см. далее, напр., Therborn 1992). Таким образом, в качестве отправной точки следует принять не историческую или политическую мысль и не современную конституционную (соответствующую конституции) интерпретацию, но открытые вопросы, неотъемлемо присущие логике демократии, любой логике «власти народа».

¹ Просто как институт (*Прим. ред.*).

Начнем с буквального смысла демократии и идеала демократии, а затем и вытекающих отсюда двух групп вопросов. «Демократия» означает «власть народа», что приводит к двум фундаментальным вопросам: о «народе» и о «власти». Каждый из них мы постараемся рассмотреть в историческом ракурсе и в контексте современных конфликтов, дебатов и альтернатив. Исторический взгляд важен только для того, чтобы на конкретных примерах показать, какую роль в идеалах демократии играет неопределенность.

Вопросы, относящиеся к понятию народа

Кто является народом?

В классической и наиболее авторитетной теории демократии, сформулированной в основном в Европе, этот вопрос обычно игнорируется как тривиальный или самоочевидный. «Народ» отличают от монарха и от аристократии и олигархии; кроме того признается, что народ – это свободные, независимые взрослые, постоянные жители государства мужского пола. Рабы, крепостные, слуги, поденщики, арендаторы, бродяги, дети, женщины и иностранцы не являются частью «народа», к какой бы группе они ни относились. Торговцы-«челноки», корабельники, мелкие свободные крестьяне или сезонные сельхозработники, а также ремесленники, занимающиеся мелкой торговлей или продажей запрещенных товаров, могли быть или не быть «народом» в зависимости от обстоятельств.

Потребовалось много времени и две мировые войны, прежде чем был достигнут консенсус относительно того, кто является народом в демократическом государстве. Швейцарию часто называют пионером демократии, хотя женщины там получили право голоса (избирательное право) в 1971 году, а приблизительно один постоянный житель из семи исключается из народа как иностранец. Вопрос о том, кто является народом, стал особенно важным в эпоху ранних европейских завоеваний и поселений в Америке. Являются ли коренные жители народом? Во многих странах доминирующим был ответ «нет» (в Австралии так считалось вплоть до 1960-х годов). Рабы, очевидно, не являются народом, но как насчет освобожденных рабов? В большинстве штатов США их относили к народу до конца 1960-х годов. Недавние иммигранты представляют еще одну сомнительную категорию; в Аргентине все они исключались из народа еще в первые десятилетия этого века. Только позже и постепенно, в 1960-х и 1970-х годах, в Западной и Южной Африке такое отношение стало расцениваться не как признак либеральной демократии, а как расовое подавление (угнетение) одних людей другими.

Белым женщинам, иммигрировавшим уже давно, было легче. Новая Зеландия, малозаселенные районы Австралии и западная часть США – мировые пионеры в признании за женщинами политического гражданства с конца XIX века, что в некоторых странах Южной Европы было достигнуто только после Второй мировой войны.

Недавние волны массовой миграции снова обострили вопрос о том, кто является народом страны. Теории демократии обычно избегали вопроса о границах, отделяющих один народ от другого. Должны ли они приниматься как данность или как нечто естественное – как «естественные границы» – или, если быть более точным, так, как они сложились исторически? Однако, по ряду причин, «двери» либо наций открыты, либо просто отсутствуют. Новая политика национальной идентичности, от Канады и Кавказа до Индонезии и Папуа Новой Гвинеи, ставит вопрос о заданности границ. Возникают новые требования на гражданство. А как только вопросы подняты, сразу правильно ответить на них сложно.

Может ли при демократии быть более одного народа?

«Из многих одно» [“E pluribus unum”], из многих – один (народ) – официальная геральдическая формула США. Она точно схватывает суть республиканской и

демократической мысли. Народ всегда один. Мультинациональные* государства – наследие империй, существовавших до эпохи демократии. Оттоманская Империя и Империя Моголов, например, давали убежище официально признанным, известным в религиозном плане зрения сообществам, *millet*.² Династические империи Европы, такие как империи Романовых или Габсбургов, признавали существование ряда этнических и религиозных сообществ, а также территорий со своими собственными законами и легитимными обычаями (традициями). Последний император династии Габсбургов обычно обращался к своим подданным «мои народы».

Не принимая во внимание собственный опыт таких многонациональных империй, в рамках марксистской теории рабочего движения сложились первые основные концепции демократической многонациональности в работах Отто Бауэра и В.И. Ленина. Версальский договор после Первой мировой войны установил принцип национального самоопределения общего (собирательного) права меньшинства.

Ни один из этих проектов не удался. Гарантии, предоставляемые меньшинствам Лигой Наций, никогда не действовали в полном объеме, и во второй половине 1930-х годов они были замещены идеей – выдвинутой нацистской Германией, но отнюдь не ею одной, – этнической гомогенизации с помощью перемещения населения. Австрийская социал-демократия не смогла предотвратить националистическое разделение имперского рабочего движения, как и (в гораздо меньшей степени) крушение самой Австро-Венгерской империи. Некоторые успехи были достигнуты вскоре после образования Советского Союза, который был создан как многонациональное государство. В 1920-х годах, перед сталинской русификацией, в СССР пропагандировались национальные культуры и языки. Но кроме признания независимости Финляндии антикоммунистический национализм и сепаратистское националистическое самоопределение нигде не были приняты добровольно. Когда в 1991 г. Советский Союз распался, основные разногласия касались национального вопроса, и посткоммунистические государства возникали по границам национальных республик Союза.

Однако с ростом числа национальных государств и масштабными этническими «чистками» вопрос о власти нескольких народов, о многонациональной демократии не исчез с повестки дня. Наоборот, практически повсеместно звучали требования к признанию коллективной идентичности, коллективной автономности. Они исходили и от местных жителей, и от диаспор (этнических общностей), и от представителей региональных культур.

Культурные права порождают наиболее долговечные споры о правах народа. Свобода религии была фактически запрещена в Западной Европе, когда толерантные мусульманские правители были вытеснены с Пиренейского полуострова. Религиозные войны Реформации и Контрреформации привели к тому, что сейчас назвали бы принципом тоталитаризма, когда правитель определяет религию народа. Отказ Европы от свободы в выборе религии привел к колонизации Новой Англии. Прорыв в отношении религиозной свободы в Западной Европе, которую [еще] с осторожностью допускали в крупнейших городах Голландской Республики, и которую в эпоху Просвещения [уже] требовала элита народа, произошел только в XIX в.

Требования прав, касающихся групповой принадлежности и идентичности, языка, образования, коллективных традиций или стиля жизни, появились позже, и во многих частях мира за эти права до сих пор ведется борьба.

Недостаток других решений, кроме диктаторской власти, побуждаемых эгоизмом компромиссов или притеснений, снова выдвигает на первый план пробелы в теории демократии и абсолютную произвольность границ между людьми. Нынешнее положение курдов в Турции и албанцев в Косово, расстановка международных риторических, экономических и военных сил за и против них, соответственно, ярко иллюстрируют эту произвольность.

* В тексте – терминологически более точное, но не имеющее аналогов в современном русском выражение "multi-people", т.е. "многонародные" государства (Прим. ред.).

² Millet (фр.) – религиозное сообщество.

Откуда берется народ?

Если в теории европейской политической науки, равно как и в теориях других стран, которым модернизация была навязана извне, но которые оказались не побежденными европейской и североамериканской властью, народ можно было точно определить, то в странах Нового Света и в бывших британских колониях для политического признания людей они должны были иметь определенное происхождение. В странах Нового Света речь идет в первую очередь о мигрантах. Рабы и иммигранты, работающие по контракту, а также до самого последнего времени местные жители (аборигены, туземцы, негры) никогда не были частью народа. Но статус бывшего раба, того, у кого рабом был один из родителей, или местного жителя был нечетким и противоречивым. Даже если они и считались частью народа, <для правительства> они были, по меньшей мере, нежелательны, и их было лучше заменить или разорить с помощью «нужных» иммигрантов – белых, предпочтительно из северной Европы. Такие взгляды были типичны для модернистских [modernist] политиков и интеллектуалов с середины XIX века до Великой депрессии XX века, например, в Аргентине, Бразилии и на Кубе.

Правители колоний, где поселенцы-колонисты встречались редко, предпочитали людей из «цивилизованных» стран, то есть с высшим образованием. С помощью последнего некоторые могли стать “*évolués*”³, достаточно развитыми, чтобы быть частью народа. С другой стороны, для националистов – противников колонизации понятия народа, нации пришли от колониальной власти. В принципе, любое внутриколониальное разделение, даже случайное, воспринималось как определяющее (хотя не называющее) народ нации и его священную территорию: индеец (житель Индии), житель Кот-д’Ивуара, житель Суринама, житель Эритреи или житель Восточного Тимора. Колониальное разделение на элиты и массы стремилось воспроизвести себя после независимости (обычно, но не всегда, как, например, в случае иерархии по цвету кожи на Гаити), без расистских форм бывшего деления.

В последнее время в связи с новыми волнами миграции вопрос о происхождении людей <принадлежащих к народу> стал снова актуальным. Являются ли некоторые постоянно проживающие <на территории страны> иммигранты в большей степени народом, чем остальные? То есть, нужно одним иммигрантам более короткий период и более мягкие условия для включения в народ, а другим – более длительный период и жесткие условия? Если так, то почему? Используемые критерии различаются в зависимости от таких факторов, как соседство – Скандинавские страны, поколение – Германия, отношения внутри пост-имперских стран (Великобритания, Франция и другие бывшие колониальные державы).

Однако есть еще более общий и вечный вопрос, который в силу разных причин становится более или менее актуальным. Откуда народ получает способность к самоопределению? При каких условиях народ может лучше создать себя, определить себя, свою ситуацию и свои интересы? Исходя из политического смысла демократии, ни один народ не «готов» к этому здесь и сейчас. По сути дела, все народы происходят от детей, которые развиваются различными путями. Дискредитация колонизаторских, расистских и других элитистских [elitist] концепций происхождения народа не решила проблему формирования субъектов самоуправления. Это, в свою очередь, должно привести к фундаментальному вопросу о социальных условиях, при которых народ создается или вырастает в «народ» в значении, принятом в политической теории. У нас будут причины, чтобы вернуться к этому вопросу ниже.

В современной ситуации крайне важно обратить внимание на взаимозависимость демократии и семьи. Ни один серьезный демократ не может принимать «семью» как заданную ценность. Некоторые типы семьи поддерживают демократию, другие разрушают.

³ “*Evolué*” (фр.) – развитый, современный.

Есть все основания полагать, что авторитарные семьи порождают авторитарные государства, а коллективистские семьи, основанные на коллективистской системе – семейственность и фаворитизм в общественной жизни.

Вопросы власти

Хотя вопросы о власти народа и о народной власти еще более закрыты, чем вопросы о народе, – это фундаментальные и сложные вопросы.

Власть над чем?

Первый вопрос о власти народа – вопрос об объекте власти (власть над чем)? Этот «объект», в свою очередь, можно разложить по двум осям: пространство (область) [area] и объем (величина) [extent]. Пространство может быть определено в терминах территории и/или в терминах функции. Объем можно разделить по горизонтали и вертикали на сферу (спектр) [range] и глубину [depth].

Законная территория народа X, то есть территориальная протяженность легитимной власти народа X, всегда условна, рационально произвольна. Установленные колониальные границы есть только на карикатурных изображениях глобального мира.

Территориально современное право развивалось по двум противоположным направлениям. С одной стороны, были прояснены и укреплены границы суверенных государств (всегда размытые в больших до-современных государствах), включены промежуточные области (районы) автономных подчиненных государств, кочевников или изгоев. Досовременная узаконенная сложность территориальных отношений была превращена в простую систему границ национальных государств. Таким образом, национальное государство или, правильнее, отдельное государство, стало гораздо более сильным, чем 100 или 80 лет назад. Граница между подданными и неподданными или, сегодня, гражданами и негражданами [non-subjects / non-citizens] теперь четко выражена.

Хотя развитие преступности действительно установило новые ограничения на территориальное пространство государств, недоступные [no-go] районы насилия находятся вне сферы любой власти народа.

С другой стороны, национальная территориальная суверенность государства всегда зависела от иерархии межгосударственных отношений и отношений между столицами. Когда МВФ и Мировой Банк заменяют собой колониальный консорциум, управлявший турецкими и китайскими иностранными кредитами, здесь проявляется стремление к интернациональной институционализации зависимости, а также к установлению международной нормативизации [normation]. В основном, такое стремление консолидировано в Европе с ее Судом ЕС и Советом Европейского суда по правам человека. Кроме того, можно назвать ряд конвенций ООН и не всегда эффективный международный мониторинг, также более позднее пример – вмешательство суда США в ситуации, когда национальный суд Гватемалы был не в состоянии справиться с террористами.

Не следует забывать, что это сложные вопросы. Большая ясность территориальной суверенности обеспечивает больше «пространства» для народного права. Но если по национальному признаку люди делятся на независимые группы произвольно, то вес международных организаций и судов добавляет внимание в глобальном или хотя бы региональном плане. При этом снова встает вопрос, насколько демократичными являются эти международные организации, особенно по сравнению с национальными демократическими институтами. Более того, существуют различные типы международных организаций. МВФ и Мировой Банк – это не то же самое, что Международный суд по правам человека или дискуссионная комиссия [disputes panel] Всемирной Торговой Организации.

Несмотря на то, что территория власти всегда была вопросом этническим или национальным, *функция* права была и остается вопросом классовым. Серьезные опасения

демократии были связаны с тем, что сделают простые люди с собственностью и привилегиями, если признать их политические права. Ответ оказался таким: на удивление, почти ничего.

Однако вместо того, чтобы радоваться, привилегированные группы предприняли ряд активных, достаточно успешных выступлений, преследовавших цель сузить спектр функций народной власти.

Функции государственной власти с течением времени менялись. Можно выделить три основных периода. Первый, в основном связанный с войной, господствовал во всех государствах до конца XIX века. Затем наибольшее внимание уделялось инфраструктуре – строительству портов, каналов, дорог, мостов, железных дорог, развитию телеграфа, почты, телефона. Примерно с 1970 года достижение благосостояния граждан стало доминирующей функцией государственной власти во всех странах, в том числе Соединенных Штатах, а после войны во Вьетнаме приоритет получили образование, здоровье и система социального обеспечения, социальная безопасность.

Эта долгосрочная тенденция развития государств в количественном отношении еще не закончилась. Но недавно был принят ряд очевидных мер с целью сокращения масштаба общественных функций. Наибольшее распространение получило исключение из сферы народной власти монетарной политики. Некоторые страны, от Эстонии до Аргентины, перестали заниматься монетарной политикой, полностью присоединяясь к немецкой марке и американскому доллару, соответственно. Другие, повторяя недавнюю европейскую «причуду», выводят свои Центральные банки из-под демократического влияния. Новые бюджетные методики исключают социальные цели из сферы свободного принятия решений в политике. Приняты новые пенсионные схемы, впервые разработанные в Чили и затем экспортированные, при активной поддержке Мирового Банка, через Латинскую Америку в Восточную Европу. Они превращают пенсии из социального права [entitlement] в сберегательные схемы, зависящие от развития финансовых рынков. Вся идеологическая программа «экономного государства» [“lean state”]⁴ в демократических политических условиях означает превращение демократии в «бедную» [“lean”] и беспомощную [thin].

И по территории, и по социальным функциям народная власть, всегда была противоречивой. Равновесия между индивидуальными и коллективными правами меньшинства, с одной стороны, и правами власти большинства, с другой, с логической и моральной точек зрения так же условно и произвольно, как и граница между государствами народа X и народа Y.

Насколько широко вообще может быть распространена власть?

Власть человека всегда ограничивалась непредсказуемыми явлениями природы, вспышками эпидемических и других неожиданных заболеваний и смертности, расстоянием, а также ненадежностью коммуникации. Пространство, освобождаемое двумя последними факторами, часто и легко захватывалось теми, кто находится вне сферы любой установленной власти, – грабителями, кочевниками, или просто местными жителями. Послание современности состояло в том, что будущее можно творить. Важным основанием для этого явилось распространение знания и контроля, что расширяло возможности власти человека, включая властные возможности государств.

Однако не нужно называть себя постмодернистом, чтобы быть уверенным в срыве и разочаровании в больших модернистских проектах. Очевидно, что современность вступает в противоречие с базовой предпосылкой демократии. Демократия, или, по крайней мере, идеальная демократия, предполагает, что под властью народа может находиться нечто значительное, что народное самоуправление имеет некоторое значение. Постмодернизм ставит вопрос: насколько широко вообще может быть распространена власть?

⁴ Возможны также переводы «бережливое государства», «скупого государства» и др.

Чтобы рассмотреть эту проблему со всей тщательностью, нужно задаться вопросом: можно ли полностью управлять территориями и социальными функциями? «Власть» в этом случае означает, что между намерениями, методами и результатом существует положительная и предсказуемая линия связи. Хаотическая непредсказуемость или бесконечность ограничи́ли бы власть, включая возможную демократическую власть народа.

Однако тщетность политических методов – это, наряду с риском и упрямством, старая уловка (Hirschman 1991), к которой необходимо относиться со скептицизмом и осторожностью. Должные границы возможной власти просто неизвестны. Но границы существуют, и демократам следует принимать их во внимание.

Важная характеристика возможностей демократической власти заключается в относительном размере предприятий, рынков и государств. На данный момент этот треугольник меняется прежде всего в направлении маркетизации, соответствующего роста рынков, а также роста влияния предприятий по сравнению с государством.

Степень маркетизации предприятия касается его зависимости от конкурентных рынков, определяемой объемом соответствующих товарных и финансовых рынков (рынков ценных бумаг) относительно объема продаж и средств (активов) данного (комплекса) предприятия(й). Применительно к государству, маркетизация может быть легко измерена через зависимость государственной экономики от иностранной торговли, но также, что более важно, через отношение объема государственных ресурсов к объему значимых рынков ценных бумаг и в зависимости от степени автономности рынка от государственного регулирования. Часть треугольника «государство – предприятие» изменяется пропорционально объему нужных финансовых и интеллектуальных ресурсов государства по отношению к комплексу ключевых предприятий.

Кроме мобильности, расширение и углубление маркетизации означает сосредоточение ресурсов, товарооборота, активов и прибыли в руках владельцев капитала. В этом отношении 1980-е годы были ключевым десятилетием. Например, оборот торговли иностранной валютой увеличился с 1.8 доли мирового объема продаж в 1979 году до величины, в 9 раз большей объема мирового производства в 1989 и в 10 раз большей в 1996. Слияние в 1997 году Корпорации швейцарских банков и Объединенного Банка Швейцарии создало частную организацию с активами в 920 миллиардов долларов, что превышает годовой объем производства седьмой страны, входящей в «Большую семерку», Канады – около 578 миллиардов в 1996 году, и немногим меньше, чем ВВП Соединенного Королевства – около 1140 миллиардов. Активы нового швейцарского банка более чем в 3 раза превышают ВВП Швейцарии.

В течение длительного периода треугольник «предприятия – рынки – государства» так и остался треугольником. Что касается отношений между предприятиями и государствами, то здесь наблюдалось долговременное усиление государства по показателям финансовых и административных ресурсов в сравнении с частными предприятиями, приобретшими движущую силу в XIX веке, которое выразилось напрямую в прекращении сбора налогов, гибели частных колониальных компаний и в устойчивой тенденции национализации инфраструктуры – транспорта и коммуникации. Экспансия государства благосостояния в 1960-х и 1970-х годах еще более усилила значение государства. С 1980-х годов эта тенденция была частично изменена из-за стремления к приватизации.

Роль рынков существенно возросла по сравнению и с государствами, и с предприятиями, за 40-50 лет до Первой мировой войны. Потом последовало то, что можно назвать «коротким веком государства», который был «коротким веком» и больших предприятий – «организованного капитализма» и ориентированного на рабочие места индустриального коммунизма – с 1914 по 1989-1991 годы, а также гибели восточноевропейского коммунизма, чьи позиции были подорваны по меньшей мере с 1970 года.

В тот год объем мировой торговли, составивший 10% от мирового объема производства, превысил объемы торговли в 1913 и 1929 году, примерно на 9%. Рост цен

ОПЕК (ОСЭН) на нефть повлек за собой рост торгового коэффициента до 15% в 1975 году. Он колебался до середины 1990-х годов, а затем вновь достиг 22% мирового объема производства.

С ростом объема рынков, возрастала и невозможность их прогнозирования. Основная причина состояла в вышеупомянутом резком увеличении нестабильных финансовых рынков. Две другие причины – значительное расширение в последние годы незаконных рынков наркотиков, а также возобновившаяся во многих странах тенденция к развитию «неформального» сектора внутреннего рынка экономики. В Бразилии в этот сектор включено около половины городского экономически активного населения, в Мексике – около 40%.

Масштаб демократической власти ограничивается не только рынками, но и привычной властью, а также широким распространением насилия. Авторитет привычной власти – правителей, землевладельцев, старейшин в течение XX века снижался, но он до сих пор ограничивает возможности народной власти в Африке (Mamdani 1996), во многих сельских областях Южной Азии, а также частично в Латинской Америке, особенно среди местного населения. Массовое, в большей или меньшей степени постоянное, насилие препятствует любой возможности установления народной власти в большинстве районов Африки, в Колумбии, Сальвадоре и в других странах.

Однако этот текст не стоит рассматривать как выражение позиции, близкой к глобалистской идее «конца национальных государств». Многие государства в последнее время достигли больших успехов в развитии Восточной и Южной Азии и Латинской Америки, в борьбе с инфляцией в Организации экономического сотрудничества и развития, а также в поддержке региональных межгосударственных организаций, таких как Европейский Союз, Ассоциация государств юго-восточной Азии (АСЕАН) [ASSEAN], Миссия ООН по референдуму в Западной Сахаре [MERCOSUR] и др.

Ресурсы власти

Народная власть – не волшебство. Она в большей степени зависит от организационных ресурсов, чем от лозунгов. Проблема в том, что власть народа зависит от ресурсов, поступающих из сферы, находящейся за пределами сферы деятельности обычных людей – знаний, способностей и честности организационного аппарата государства.

Основной парадокс заключается в том, что эффективность народной власти зависит от внешнеародных организационных ресурсов.

Множество современных попыток реализации народной власти потерпели крушение на рифах организационно-управленческой несостоятельности. Сложность постколониального формирования государственного аппарата из числа местных жителей обычно проистекала из недостаточного уровня компетентности, честности и эффективности. Например, эксперименты «африканского социализма» потерпели неудачу из-за недостатка соответствующих организационных ресурсов для социалистического управления. С другой стороны, современная тенденция обеспечения министерств финансов кадрами за счет экономистов, прошедших подготовку в США и Мировом Банке, которые могут быть формально компетентны и не склонны к коррупции в личном плане, подрывает народную власть из-за обладания такими специалистами знаниями, не доступными многим [arcane], и их восприимчивости к состоянию международного капитализма. Во многих странах автономность военного и полицейского аппарата накладывает ограничения на гражданские права и народную власть.

На организационном уровне общая современная проблема, касающаяся народной власти, состоит в возникшей из частных корпораций мощной постбюрократической, менеджеральной концепции государственной организации, включая формирование корпоративных менеджеров. Несмотря на компетентность и эффективность, такие концепции создаются в и для авторитарных организаций и не предусматривают необходимость отчитываться перед народом. Правительства третьего мира и бывшего

второго мира сталкиваются с вышестоящими международными организациями, такими как МВФ и Мировой Банк, которые не подотчетны перед народом. Демократия в смысле избирательной народной власти подрывается этими новыми организационными образованиями.

Формы народного основания власти

Многие сложные вопросы народной власти или демократии могут быть сведены вместе в порядке возрастания возможности народного основания системы.

Отправной точкой (часто меняющейся) является тогда народная поддержка [popular support] власти, которая не обязательно требует участия народа в политике. Эта ситуация типична для стабильных автократий, таких как империи Китая, Японии, Оттоманская империя или империя Романовых. Она также характерна для многих современных диктатур, даже самых жестоких, например, сталинской России или гитлеровской Германии.

Парадокс заключается в том, что в условиях демократии народ не обязательно поддерживает правительство и его политику. По меньшей мере два значительных политических поворота в недавней истории произошли из-за того, что взяло верх избирательное меньшинство. Первый пример – выборы в Южной Африке в 1948 году, выигранные националистами при меньшинстве голосов белых (не-белые не были частью народа) и открывшие эру явного апартеида. Другой пример – выборы в Англии в 1951 году, открывшие новую, долговременную эру тори, получившим меньшее количество голосов, чем партия лейбористов. В обоих случаях законность политического класса определяла именно избирательная система, а не относительное число голосов. Конечно, более частый случай – когда политик избирается благодаря одной программе, а затем в кабинете он реализует другую. Таким образом произошел неолиберальный поворот в Аргентине в период правления Карлоса Менема.

Народная законность [popular legitimacy] была частью политики в городских республиках средневековой Италии. Но центральным и противоречивым принципом высшей политики она стала только после Французской Революции, и была явно отвергнута наполеоновским Священным Союзом. Европейский национализм принял ее только в XIX веке. Всегда будучи частью американской интерпретации истории, принцип самоопределения был утвержден в программе Вилсона после Первой мировой войны.

Народное представительство [popular representation] во власти издавна являлось требованием Европы, которое перешло потом к американцам. Это был решающий момент в конфликте разделения власти между тринадцатью североамериканскими колониями и государством.

В течение XIX века, вплоть до Первой мировой войны, принцип народного представительства утверждался почти повсеместно: в древних империях Японии, Китая, Турции, России и в новых империях Англии и Франции.

Подотчетность народу [popular accountability], подотчетность правителей народу – это уже другая ситуация. Монархическая традиция ответственности только перед Богом была сильна до конца Первой мировой войны. Через некоторое время новые диктатуры потребовали той или иной формы народной законности. С конца Второй мировой войны «демократия» со своими институтами установления народной законности через выборы, народного представительства в парламенах и подотчетности народу путем замещения правителей, была единственным нормативным стандартом правления, на практике часто нарушаемым по тому или иному «особому» случаю.

Народное участие [popular participation] в правлении – более явное, более прямое требование. Оно было частью французской революционной традиции с 1792-1793 годов, возрождено во время Парижской Коммуны и отсюда перешло в марксистскую теорию рабочего движения. Это требование звучало в России в 1905 и 1917 годах среди городских масс на волне революционного движения советов рабочих и солдат и в течение нескольких

месяцев в 1918-1919 годах в Германии, в Вене и Будапеште. Впоследствии оно стало не более чем символической атмосферой «Советского» Союза.

В ходе движений радикально настроенной молодежи в 1968 году были выдвинуты требования активного участия народа в управлении государством. И хотя они не были приняты и институционализированы, во многих странах такое участие на какое-то время усилилось, стали масштабнее народные демонстрации, активизировались деятельность политических партий и организаций и т.д.

Проблема эффективности народного самоуправления [efficacy of popular self-rule] объединяет наши вопросы о народе и о власти. Какие возможности существуют у действующих демократических народных институтов для эффективного управления в соответствии с волей народа?

В ситуации менее стабильной мировой экономики в результате впечатляюще неэффективной народной власти, как в случае Лейбористского правительства в Англии в 1978-1979 годах или правительства Алфонсина в Аргентине и Алана Гарсии в Перу в 1980-х годах, появилось новое влиятельное политико-экономическое течение – постдемократический либерализм. Он возник как консервативный ответ на требования участия в 1968 году и концентрировался сначала на «перегрузке правительства» и «невозможности управлять» [“ingovernability”], но после социально-экономических ошибок многих центристских и «левых» правительств, совершённых во время мирового экономического кризиса конца 1970-х–начала 1980-х годов, консервативные беспокойства развились в программу активных действий.

Постдемократический либерализм

Избранные политики до сих пор являются ключевыми фигурами, но значение выборов в настоящее время, учитывая особенности социальной и макроэкономической политики, уменьшилось. Новая структура политических игроков, представляющих большинство, похожа скорее на постдемократическую, чем на недемократическую или авторитарную. Первая признает свободу выражения мнения, правовое государство и обязательность обеспечения законности путем альтернативных выборов. Но общественное мнение и народное участие представляют иррациональную опасность, которую как можно дольше не следует допускать с помощью институциональных заслонов [enclosures] и твердого контроля, или «руководства».

Постдемократический либерализм, естественно, связан с элитистской теорией демократии, предложенной Шумпетером (Schumpeter 1943/1950: ch. XXII), в которой демократия понимается как «конкуренция за превосходство», но в большей степени он связан с задачей удержать людей на расстоянии, в отличие от спокойной и циничной позиции Шумпетера 1940-х годов, показывающей идеалистов и людей, ориентированных на успех, такими, какими они действительно являются с точки зрения демократии.

Мы можем разложить новую структуру общественных акторов по четырем уровням: государства, правительства, партии и общественное управление.

В рамках государств произошел важный сдвиг от выборных акторов и институтов к не-выборным, особенно в отношении монетарной и экономической политики, к неподотчетным «независимым» центральным банкам или административным органам, таким как currency boards, и министры финансов, назначаемые не из сферы политики.

В рамках правительств возросло влияние Казначейства (Министерства финансов), а внутри Казначейства – принципов посткейнсианской неолиберальной экономики. Нигде не существует сколь либо значительной силы, противостоящей этому влиянию.

В рамках партий основной сдвиг во власти произошел от политиков – выходцев из народа и репрезентантов народа, в пользу ловких технократов, получивших в высшей степени неолиберальное образование, а также талантливых представителей СМИ.

В сфере коммунальных услуг наблюдаются две тенденции. С одной стороны, создается небольшой слой высокооплачиваемых топ-менеджеров, а, с другой, резко сокращается слой народного пролетариата, сталкивающегося с более сложной и стрессовой работой, нестабильностью занятости и часто меньшей заработной платой. Создание первой группы является ключевым для решения проблемы резкого сокращения и ухудшения положения основной массы государственных служащих, а также для управления приватизацией сферы коммунальных услуг.

Любая форма национального постдемократического либерализма поддерживается деятельностью финансовых рынков и, если необходимо, давлением со стороны МВФ.

Со снижением значения выборов – и превращением традиционных общественных протестов в слабые протестные движения, поддерживающие партии ксенофобов в таких странах, как Австрия, Бельгия и Франция, а также с сокрытием совместных соглашений и сделок правительствами и держателями капитала, кроме членов постдемократической либеральной структуры возник еще один существенный актор. Это массовые протесты, обычно поддерживаемые капиталовложениями из нескольких конкретных источников, которые подвергаются нападкам со стороны членов постдемократической структуры. В третьем мире проходят серии «восстаний против МВФ», начавшиеся в Африке и арабских странах и распространившиеся затем в 1997-1998 годах в Южную Азию. В Европе наиболее заметным примером стали демонстрации 1994 года в Италии против предложенного правительством Берлускони сокращения пенсий, а также массовые забастовки и демонстрации во Франции в декабре 1995 года, вызванные предложением правительства отменить право машинистов метрополитена уходить на пенсию в возрасте 50 лет. XX век закончился впечатляющим, на удивление успешным краткосрочным массовым протестом против встречи членов ВТО в декабре 1999 года.

Проблема в том, что хотя массовые протесты могут быть эффективным способом выражения воли народа, выступающего против непопулярных правительств и политических мер, они вряд ли могут служить инструментами эффективной народной власти.

Резюме

Демократию следует рассматривать как огромный спектр альтернатив не только в смысле предложения бесконечного множества возможных политических курсов или набора изменяющихся систем выборов и принятия решений, но и в смысле постановки фундаментальных вопросов о народе и альтернативах его власти. Серьезное их рассмотрение включает осознание не только многозначности понятий «народ» и «власть», но также того, что то, что является народным, не всегда является демократическим, и то, что считается демократическим, не всегда народное.

В обобщенном виде рассмотренные выше вопросы и проблемы можно представить в таблицах.

Таблица 1. Вопросы и проблемы «народа»

<i>Вопросы</i>	<i>Классические проблемы</i>	<i>Современные проблемы</i>
Кто?	Этничность	Миграция
	Гендер	Политика идентичности
	Раса [race]	
Более одного <народа>?	Мультиэтничность	Мультикультурализм
	Мультирелигиозность	Местные жители (народы)
		Региональные культуры
Каким образом (как)?	Образование	Гражданство
	Происхождение	Гражданская культура
		Социальные условия
Какие права?	Право действовать	Социальные права [entitlements]
	Право требовать	Культурные права
Основания прав?	Эмансипация	Границы прав человека
	Инструменты власти	

Таблица 2. Вопросы и проблемы «власти»

<i>Вопросы</i>	<i>Классические проблемы</i>	<i>Современные проблемы</i>
<Власть> над чем?	Суверенитет	Национальный vs. международный
	Функции	Социальные и денежные (финансовые) функции
Насколько широко может быть распространена власть?	Знание (компетентность)	Крупные, неорганизованные, незаконные рынки
	Контроль	Насилие
Ресурсы?	Государственная организация	Приватизация
Правила [rules]?	Конституция	Международные правила
	Классовый компромисс	Рыночная гибкость

Среди всех этих проблем три представляются наиболее острыми. Одна касается вопроса о наилучших формах мультинациональной [multi-popular] демократии, который относится к демократическому регламентированию проживания в рамках границ одного государства более чем одного народа, а также к формам межгосударственной, региональной (как в Европейском Сообществе) и глобальной демократии. Вторая касается вопроса «власть над чем?». Более точно, вопрос состоит в том, как и насколько решительно нужно выступать против текущих программ более экономной и бережливой демократии, сокращая характерные для демократической власти функции, то есть программу постдемократического либерализма. Третий вопрос наиболее сложный из всех: насколько широко вообще может быть распространена власть в условиях существования крупных, непостоянных, непредсказуемых рынков, новых форм чрезвычайно выгодной незаконной торговли наркотиками, стихийных бедных народных рынков [people's markets], эндемического насилия во многих областях? И даже еще более сложный вопрос: возможна ли при таких обстоятельствах эффективная народная власть?

Это время с трудом можно назвать временем триумфа демократии. Тем не менее, это время борьбы за права и время подчас мощных народных протестов. Смогут ли эти требования и протесты подготовить почву для новой волны демократизации мира, покажет будущее.

Гражданское общество и его ограничения

В последние годы холодной войны произошло восстановление старого, до-демократического понятия гражданского общества, сначала как интеллектуального оружия антикоммунистической оппозиции в Восточной и Центральной Европе, позже как дополняющее понятие к понятию демократии, особенно в англо-американских дискуссиях о демократии, но также, в более общем смысле, как понятие, обозначающее необходимое условие функционирования демократии или просто краткое обозначение сферы НКО, неологизм. (См. Cohen and Arato 1992; Diamond 1997; Gellner 1994; Habermas 1992; Hall 1995; Keane 1988.)

Как нормативный аргумент против авторитарных государственных режимов гражданское общество доказало, что является полезным инструментом, и в настоящее время используется в этом качестве, например, в Египте и Иране. Кроме того, оно может прояснить ряд принципов функционирования современных демократий. Однако для понимания проблем соотношения демократических идеалов и фактически существующих демократических реалий понятие гражданского общества является неподходящим и недостаточным.

Начнем с того с базовой структуры современного дискурса о гражданском обществе. Он обладает тремя фундаментальными характеристиками.

Гражданское общество – это нормативное понятие, понятие блага [goodness]. Во-вторых, это понятие, разделяющее государство и общество. В-третьих, гражданское общество – это политическое понятие (включая антикоммунистическую «анти-политику» Восточной Европы 1980-х годов), представляющее общество с точки зрения политики, государства и политической власти.

Гражданское общество как нормативное понятие

Нормативные понятия имеют в социальной теории долгую традицию. В современной политической теории можно выделить как минимум три основные функции нормативных понятий.

Первая функция – это нормативное закрытие [closure], запрещение, делегитимация определенных действий. Дискурс о гражданских правах выполняет в основном (хотя не только) эту функцию, делегитимируя, например, случайное насилие, пытки, дискриминацию.

Во-вторых, существуют понятия для нормативного открытия [opening], определяющие легитимное социальное пространство для понятий, априори неопределенных или определенных только в общих чертах и недостаточно четко. Традиционными призывами подобного рода были толерантность и свобода мысли и слова. К этой группе принадлежит понятие гражданского общества, несущее более тяжелый и претенциозный политический багаж, чем его предшественники.

Закрытие и открытие могут, конечно, быть рассмотрены как две стороны одной медали; одно и то же нормативное понятие может использоваться как для открытия некоторых дверей, так и для закрытия других. Суть заключается только в том, что нормативный дискурс может иметь разные смыслы и для современного дискурса о гражданском обществе характерно требование открытого социального пространства.

В-третьих, нормативные понятия могут указывать направление, в котором должны развиваться государство и общество, или стандарт, с помощью которого может быть оценено их состояние. Справедливость – классическое понятие такого рода.

Нормативные понятия играют важную роль в обсуждении проблем человеческого и социального. Однако всегда существует определенный риск нормативности, заменяющий при анализе надежду или морализаторство. Этот риск, в свою очередь, можно рассматривать как разновидность более общего явления – цены освещения. Понятие создается для освещения чего-то, как прожектор. Но направляя свет на что-то, прожектор бросает при этом тень на другое.

Понятие гражданского общества освещает:

Демократическую важность

добровольных объединений (ср. Putnam 1993; Cohen and Rogers 1995)

цивилизованности [civility], гражданского этикета, порядочности (Carter 1998; Margalit 1996)

процедур [procedure] и коммуникации (Habermas 1992)

Понятие гражданского общества скрывает:

Различия в ресурсах между гражданами / жителями

Конфликты интересов между гражданами / жителями

Культурные различия среди граждан / жителей

Различия в формах членства в сообществах и придаваемых этому значениях (ср. Rosenblum 1998)

Политические проблемы распределения имущества [substance]

Эмпирическую структуру современного общества [publics]

Дискурс о гражданском обществе скрывает как сложный и многослойный характер современных обществ, включая множественность значений, опытов и последствий множественности форм сообществ, который способен не только поддерживать демократию, но и разрушать ее, так и возможность спасения в авторитаризме – бегства от политики, и еще множество других вещей.

На сессии Папской академии социальных наук в апреле 1998 года профессор Глендон (Glendon 1999:368) сделал ряд достаточно интересных замечаний не столько о понятии гражданского общества как таковом, сколько о его международном использовании. Во-первых, «лобби и заинтересованные круги не являются “гражданским обществом”». Во-вторых, организации, «в значительной степени далекие от общественного внимания (наблюдения) и демократической ответственности», не могут считаться гражданским обществом. В-третьих, «“захват власти” определенными заинтересованными кругами [‘capture’]» не означает, что появилось гражданское общество.

Здесь следует задаться вопросом: в каких современных демократических странах не существует «лобби и заинтересованных кругов»? Какой смысл в том, чтобы избавляться от последних так, как Арато [Arato], и Коен [Cohen], и Хабермас [Habermas] избавляются от экономики, определяя гражданское общество как общество без экономики? В любом случае подобное толкование гражданского общества априори делает невозможным любое исследование фактически существующих демократических обществ.

Во-вторых, гражданское общество – это понятие, «разводящее» государство и общество. Государство означает принуждение, обычно также иерархию или вертикальность; гражданское общество – добровольность, горизонтальность. Гражданское общество, как правило – благо, в то время как государство является, в лучшем случае, необходимостью. Общепринято тройственное разделение: государство (принуждение, система прав, форма государственного устройства, например, демократия), гражданское общество (ассоциации, дискуссия), частная сфера (семья, предпринимательство, этнические группы).

Такое разделение государства и общества создает реальное препятствие для исследования социальных следствий и результатов демократии и политической власти в целом. В этом отношении мы можем сопоставить текущий дискурс о гражданском обществе с двумя другими основными концептуализациями в современной социальной науке на

основании ключевых акторов, на которых делается акцент, типе действия и результате действия.

Три дискурса о государстве и обществе

	<i>Модель актора</i>	<i>Модель действия</i>	<i>Результат</i>
Модернизация	Государство	Политический мандат	Социальное изменение
Корпоратизм [corporatism]	Полная симметрия государства и общества	Уравновешивание интересов	Социально-экономическая политика
Гражданское общество	Общество	Реализация гражданства	Демократические процедуры

Наконец, современный, в отличие от гегельянского, дискурс о гражданском обществе представляет общество преимущественно с политической точки зрения. Общество рассматривается и оценивается в основном через свое отношение к государству, что означает игнорирование социальной структуры и культурного своеобразия обществ. Это заслуживающее внимания основное отличие от шведского варианта представляет государство с экономической точки зрения, как «государственный сектор».

Кроме того, именно из-за самозабвенной политизации общества дискурс о гражданском обществе не подходит для обсуждения результатов политических процессов.

За пределами гражданского общества

Идеализированные, чрезмерно политизированные, не поднимающие национальный вопрос концепции социального мира, встроенные в современное понятие гражданского общества, можно преодолеть, двигаясь далее в трех направлениях.

Социальное производство граждан

Вместо того, что ограничивать понятие гражданского общества определением с точки зрения экономики, частной сферы семьи и / или титульного [“primordial”] этноса как особой сферы, где развивается государственное гражданство, нам кажется более продуктивным задаться вопросом о том, какой тип граждан создает данное общество в данный период. На вопросы такого типа нельзя верно ответить, ссылаясь на количество добровольных объединений. Например, в Скандинавии и Соединенных Штатах существует очень большое количество добровольных объединений, и эти государства являются стабильными демократиями. Однако их правительства проводят очень разную политику, и характер гражданского вклада в политический процесс между ними также сильно различается.

Таким образом, нужно поставить следующие вопросы:

Распределение [allocation] экономических, социальных и культурных ресурсов среди граждан, доступный объем таких ресурсов и их распространение [distribution] между ними.

Предоставление ролевых моделей и ролевых образцов <поведения>.

Историческая структуризация [structuration] ожиданий и страхов по отношению к жизни и обществу.

Структуры возможности [opportunity].

Вышесказанного может хватить для научной программы широкомасштабного социального исследования, но это также можно рассмотреть в более сжатом виде, как то, о чем многие заинтересованные и информированные граждане хорошо осведомлены. С обоих углов зрения открывается перспектива, которую современная нормативистская дискуссия о гражданском обществе пытается скрыть или затуманить.

Публичная сфера как реальность

Юрген Хабермас (1962) провел блестящее эмпирическое историческое исследование неуловимого [elusive], но важного социального явления, *Öffentlichkeit*, которое обычно на английский язык переводится как «публичная сфера» [“public sphere”]. Однако в современной теоретической дискуссии, представленной в работе самого Хабермаса, нормативные идеалы публичной сферы вытеснили анализ того, каким образом на самом деле функционирует публичная сфера.

Если кто-то захочет подвергнуть понятие публичной сферы теоретически релевантному анализу, продуктивным может оказаться представление ее как «поля» в терминах Пьера Бурдьё (Bourdieu, 1992), то есть как поля силы и сражений, а не как интеллектуальную беседу в кафе. Это может повлечь за собой исследование топографии публичного ландшафта. То есть исследование каналов и «шлюзов» в публичной дискуссии; взаимосвязей различных «субполей» или сообществ [publics], например, организаций или СМИ; путей на вершину, к общественному лидерству или встречающихся на этом пути ловушек. Как накапливается «публичный (общественный) [public(icity)] капитал» и как он трансформируется в «политический капитал»?

Транс-культурные, надгосударственные нормативные порядки

Если что-нибудь из критики, высказанной выше в адрес современного дискурса о гражданском обществе, является верным, тогда не следует многого ожидать от недавних разговоров и надежд по поводу европейского или глобального гражданского общества. Повторим: установление такого общества будет безусловно хорошо с демократической точки зрения, но нормативный фокус, вероятно, затуманит видение основных проблем.

Чтобы разобраться в попытках установления и незрелом развитии надгосударственных и транс-культурных нормативных порядков, как глобальных, так и региональных, нам кажется более важным не упустить из виду нечто такое, что дискурс о гражданском обществе стремится не определять, – т. е. сложное положение и взаимодействия государственных и негосударственных акторов. В обозримом будущем именно такие союзы и такие взаимодействия будут определять характер глобального и регионального управления, где последнее не является целиком прерогативой ни государства, ни Европейского Союза. И проблема «демократического дефицита» в Европейском Союзе – это проблема не столько отсутствия интеграции национальных гражданских обществ, сколько внезапной изоляции Союза и состоящих в нем государств от общественного влияния, например, в новых ключевых сферах монетарной и военной политики (война в Косово и др.).

Рост и политическое признание обладающих ресурсами международных негосударственных организаций и их включение в механизм ЕС – конференции, выработку решений и соглашений – представляют собой крайне важные нововведения. Тем не менее, они не означают освобождения международного гражданского общества от национальных государств и их международных организаций. Образцом, скорее, служат некоторые НКО и государства, старающиеся объединиться с целью влияния на другие государства. Новая международная судебная власть, проявившая себя в наибольшей степени в Трибунале по военным преступлениям по делу бывшей Югославии и в деле Пиночета, является по существу международным делом. Глобальное спутниковое телевидение – это действительно новая публичная сфера, но ее отличие – как в значительной степени асимметричной коммуникации – от *агоры* или *салона* [salon] кажется достаточно очевидным, чтобы сомневаться в обозначении его как глобального гражданского общества в процессе становления.

Это именно новые модели межгосударственного взаимодействия, взаимодействия национального государства и НКО, а также национального государства и глобальных СМИ в суматохе ускоряющихся или изменяющихся глобальных процессов финансирования, торговли, миграции и культурных столкновений, которые нужно раскрыть, оценить и действовать в соответствии с ними.

Демократия, права человека и социальная справедливость

Демократия, кроме всего прочего, представляет собой процедуру, принцип суверенности (независимости), правило легитимности, метод принятия решений. Но процедуру в специфическом смысле, только в идеальном виде отражающую власть демоса, народа. Таким образом, для рассмотрения идеала и реальности демократии следует заглянуть за процедуры и способы гражданственности [civility], исследовать человеческие последствия демократии, другими словами – вопросы демократии и прав человека, демократии и социальной справедливости и несправедливости.

В этом контексте официальная история либеральных демократий XX века оказывается ужасной. Попробуем проанализировать ее, различая демократии по тому, как они относятся к уничтожению, унижению и угнетению других, а также к тому, как они жертвуют в человеческом и социальном плане своими жителями.

С точки зрения прямого физического уничтожения гражданского населения современные либеральные демократии, особенно британская и американская, по численности убитых значительно превосходят любой режим, существовавший до XX века. По количеству убитых бомбардировки немецких и японских городов в последние годы Второй мировой войны сопоставимы со сталинским террором в 1937-1938 годы. Во время первых было убито около 900 тысяч людей (Parkin 1977:88, 159), во время последнего около 700 тысяч были казнены (Getty 1993). Нужно добавить, что люди, проводившие бомбардировки, – до сих пор – национальные герои, тогда как главных сталинских палачей казнили и большинство их жертв реабилитировали. Конечно, масштабы этого были не такими, как геноцид в нацистской Германии, но такая оценка несостоятельна. Можно возразить, что между внешним врагом, т.е. народом станы, с которой ведется война, и внутренними врагами в данном государстве – большое различие. Но вся суть концепции прав человека в том, что здесь такого различия не существует. Убийство безоружного человека (гражданского лица) является нарушением прав человека, когда бы и где бы это ни происходило.

После Второй мировой войны готовность либеральных демократий причинять боль, включая убийство, безоружным гражданам не исчезла. Живой пример – продолжающееся десятилетие разрушение иракского общества блокадой со стороны Соединенных Штатов и Великобритании при поддержке Западной Европы и многих других либеральных демократий. Никто не знает, к скольким людским жертвам это привело, но оценки ЕС достигают сотен тысяч. Война в Косово началась с нескольких свидетельств о давлении на людей (впрочем, этими свидетельствами дело скоро и ограничилось). В итоге война была выиграна путем уничтожения гражданской инфраструктуры Сербии: фабрик, мостов, гидроэлектростанций, без всякого военного вмешательства. Сейчас к этому добавилась экономическая блокада. Международная амнистия (но не Трибунал по военным преступлениям) имела смелость и твердость признать эти либеральные насилия нарушениями элементарных прав человека (в отчете 6 июня 2000 года).

Полностью этноцентрическая концепция свободы и демократии, свойственная либеральным демократиям, проявила себя в ходе Второй мировой войны, в которой, по общему мнению, люди сражались за свободу, демократию и права человека и одержали победу. Но если с побежденными обращались великодушно, то французы и голландцы вновь агрессивно заявили о своем праве управлять другими народами и получать доход с их территорий. Великобритания не сражалась за богатства Индии, но она поступала так во всех

других случаях – от Малакки до Африки. В США был вновь восстановлен расизм со стороны белых, несмотря на восстание «Диксикратов» [“Dixiecrat”] среди демократов.

За последнюю треть XX века либеральные демократии претерпели изменения. Расизм, сохранившийся в Северной Америке со времени колоний Новой Англии, был запрещен более чем через триста лет. Вместе с тем идея найма иностранных работников, лишенных политических и социальных прав, гайстарбайтеров для выполнения работы, которую не хотят выполнять жители страны, была предложена в 1960-х годах либеральными демократиями Западной Европы (Австрия, Западная Германия, Швейцария).

Если англо-американские демократии – независимо от правящей партии – до сих пор готовы продолжать свои войны до последнего иракца и последнего серба, так же, как в свое время они были готовы продолжать войну до последнего немца и последнего японца, готовность либеральных демократий жертвовать своим собственным населением после завершения холодной войны кардинально изменилась. В последней она была частью политической игры, использованной в качестве орудия угрозы и решимости включиться в полномасштабную ядерную войну. Но в войнах в Персидском заливе и в Косово основным возложенным на самих себя давлением на либеральные демократии были не собственные потери. Негативное отношение к набору граждан в профессиональную армию можно рассматривать как еще один сигнал того, что либеральные демократии сейчас меньше подготовлены к человеческим жертвам, чем раньше. В этой связи Первая мировая война была апофеозом либерального человеческого кровопролития в Вердене, на Сомме, на Галлипольском полуострове и других «кладбищах».

Всегда существовало достаточно значительное расстояние между либеральными *salon* или *café*, с одной стороны, и обычными людьми, с другой. В действительности, «цивилизованность» [“civility”] или рафинированность исключали или часто предназначались для исключения обычных людей.

Либеральное гражданское общество редко интересовалось земельной реформой, профсоюзным движением и социальными правами. Находясь у власти, либеральные демократии допускали экономическое перераспределение в значительно меньших масштабах и гораздо реже, чем того боялись либералы и консерваторы XIX века и на что надеялись социалисты и радикалы XIX века. С исторической точки зрения, мобилизация на время войны была более эффективной, чем демократия в перераспределении доходов и богатства. В качестве долгосрочной исторической тенденции XX века выступало внутригосударственное уравнивание, главным образом за счет того, что наиболее богатая десятая часть населения переходила в «средние классы». Те, кто находился внизу шкалы, почти ничего не выиграли.

Однако даже эта непостоянная и ограниченная тенденция за последние два десятилетия в основном прекратилась, а в ряде случаев превратилась в противоположную. Неравенство по уровню общего дохода снова увеличилось, там же, где возникала возможность получения образования представителям различных социальных слоев, оно исчезло. В национальных государствах начался длительный процесс усиления экономического неравенства.

В течение столетия личные и культурные права индивидов в общем и целом расширились, но либеральная демократия как таковая не была в авангарде. Например, коммунистический Советский Союз опережал Южную Европу, от Бельгии до Италии, в отношении прав женщин и Западную Европу в отношении национальных культурных прав. Женская форма (в школе) до сих пор является объектом государственной политики во Франции. С другой стороны, Соединенные Штаты всегда были пионерами в установлении прав женщин, в том числе в последней трети XX века, иногда – вместе со скандинавскими странами. И хотя эти права, защищающие от дискриминации и притеснений, далеко не всегда были эффективными, они представляют собой, правда, запоздалый, но важный шаг к правам человека.

Социальные достижения либеральной демократии, кажется, ограничиваются одним – предотвращением массового голода, который испытали как сталинская Украина, британская колония Бенгалия или Китай во время маоистского «Большого скачка» (Sen 1999). Это важно, по сравнению с идеалами либерализма и классической демократии этого явно не достаточно.

Почему либеральные демократии постоянно воспроизводят жестокость, дискриминацию, унижение и бедность? Помимо исторического объяснения, заключающегося в том, что все либеральные демократии возникли из авторитарных, недемократических, патриархальных обществ с системой привилегий и эксплуатацией, а не на основе социального договора, есть еще две основные причины.

Первая заключается в том, что либеральные демократии, как и большинство политических и этнических концепций, обладают значительной способностью демонизировать Другого, против которого разрешены любые действия. Примечательно, что 50 лет дискурса о правах человека, распространяемого либеральными демократиями, фактически не оказали какого бы то ни было влияния на военное поведение либеральных демократий, независимо от того, большие это были войны или меньшего масштаба, внешние или внутренние, объявленные или необъявленные.

В последние десятилетия XX века либеральные демократии нашли новое оружие, причиняющее страдания множеству людей – экономическую блокаду нежелательных политических режимов. Ее впервые опробовали, с ограниченным успехом, но с большим упорством, против кубинцев, потом с большой энергией и карательной силой в течение 10 лет использовали против иракцев, сейчас – против сербов.

Постоянная готовность обладающих превосходством не вести себя в соответствие с установленной нормой заставлять большое число людей страдать приводит к морализаторскому секуляризованному либерализму, вероятно, монотеистического, в нашем случае христианского, происхождения. Другие не просто грубые и невежественные варвары, они нарушают закон единой истинной веры.

В противоположность авторитарным диктатурам, которые часто демонизируют внутреннего Другого, либеральные демократии обычно видят своих врагов за пределами границ своего государства, хотя в нем может быть много вражеских агентов или подозрительных людей.

Внутри, с другой стороны (имеется в виду все множество [оеситмене] не-врагов [non-enemies]) либеральные демократии демонстрируют настойчивую тенденцию к маргинализации других. Маргинализация некоторых людей является неотъемлемой, постоянной возможностью либерального индивидуализма. Капиталистическая экономика всех реально существующих либеральных демократий делает эту возможность постоянной тенденцией. Опыт XX века показывает, что демократия способна противодействовать этой тенденции только до некоторой степени, в течение некоторых периодов и при определенных условиях. Наилучшие условия были предоставлены мобилизацией в военное время – мощные инструменты полной занятости, экономического уравнивания и гражданского участия. Наиболее яркие примеры – Англия и Соединенные Штаты в году, Второй мировой войны. Но послевоенный бум, когда были восстановлены региональные дружественные отношения, и активное мирное десятилетие с конца 60-х и до конца 70-х годов также были значительными периодами включения [inclusion] в большинстве либеральных демократий.

Современные тенденции носят менее позитивный характер. Международная картина разнородна. С одной стороны, наблюдается определенный прогресс в дискурсе о правах человека, возможно, даже на практике, через механизм действия ООН. Дело Пиночета и Трибунал по военным преступлениям в Югославии являются, по меньшей мере, сигналами <возникновения> риска откровенного нарушения прав человека, хотя Трибунал страдает от того, что является частью крайне неопределенных действий восточно-американского и западноевропейского союза по отношению к бывшей Югославии. С другой стороны, продолжается экономическая поляризация мира.

Внутри (своих) стран, большинство либеральных демократий в конце XX века пришли к большому неравенству, социоэкономическому исключению [exclusion] и насилию внутри страны. Как было показано выше, есть одно важное – хотя не полное – исключение: положение женщин. В Западной Европе и Северной Америке, как и в некоторых частях третьего мира, хотя с другой скоростью и на другом уровне, женщины в последнее время получили значительные выгоды: в сфере высшего образования, политики и общих социальных прав. Во всем остальном общая тенденция состоит в усилении экономического неравенства, большем исключении из сферы занятости, увеличении социальных различий в жизненных ожиданиях и ожиданиях относительно здоровья, увеличении числа насильственных преступлений. В том месте и в то время, когда возрастает уровень бедности и экономического исключения, наиболее сильно страдают женщины и дети. Это следствие, правда, в разной степени, развития пост-демократического либерализма на Западе, программ структурного регулирования третьего мира, финансового кризиса в одном успешном незападном экономическом регионе (Восточной Азии, кроме Китая), а также восточно-европейского пост-коммунизма.

Хотя сейчас в мире существует значительно меньше диктатур, чем, скажем, 20 лет назад, гораздо сложнее утверждать, что в нищете стало жить меньше людей. Если это на самом деле так, то в основном благодаря не демократизации, а экономическому развитию Восточной и Южной Азии.

Действительно, последние в XX веке социальные отчеты международных организаций выглядят достаточно трагически. В отчете ООН «Доклад о человеческом развитии в Центральной и Восточной Европе и СНГ в 1999 г.» говорится: «в бывшем Советском Союзе разрастается человеческий кризис огромных масштабов» (Цитата из: World Bank/William Davidson Institute publication Transition, August 1999, p.19). Во Всемирном экономическом обзоре Мирового Банка за декабрь 1999 г. заключается: «негативные социальные последствия от восточно-азиатского кризиса и кризисов в России и Бразилии были огромны. Увеличение бедности населения было значительным. Кроме того, результатом кризиса стало... резкое снижение уровня жизни представителей среднего класса» (р. 47). В докладе ЮНИСЕФ «Положение детей в мире в 2000 году» в «резюме руководства» авторы восклицают: «Несмотря на прогресс, достигнутый в решении многих задач, поставленных на мировом саммите по проблемам детей в 1990 году, это было десятилетие необъявленной войны против женщин, молодежи и детей, выразившейся в том, что бедность, конфликты, хроническая социальная нестабильность и такие заболевания, как СПИД, угрожают правам человека и блокируют их развитие».

Перед лицом этой суровой реальности, которая, безусловно, показывает отсутствие «прибыли от демократии», я не думаю, что нам сильно помогают теории справедливости и гражданского общества, какими бы благородными и оригинальными они ни были, или любые подтверждения основных ценностей, хотя бы и человеческих. Что дальше?

На основании рассуждений можно выделить два наиболее предпочтительных пути. Оба имманентно содержат критику общепринятого дискурса – в настоящее время нет течения, альтернативного гуманистическому направлению. Первый начинается с дискурса о правах человека, повсеместно признаваемых и повсеместно нарушаемых. Если рассматривать права человека серьезно, то права человека, связанные с окружающей средой, так же, как и права каждого индивида на свободу и развитие в течение жизни на основании своих возможностей, будут иметь далеко идущие социальные последствия. В нашем мире ограничений, они, по меньшей мере, дают нам линейку, с помощью которой <мы можем> измерять доминирующие ценности власти на местах.

Во-вторых, наблюдаемое сейчас самовосхваление демократии кажется идеальным поводом, чтобы рассмотреть ее серьезно, т. е. критически. Как было показано выше, это предполагает «вторжение» в случайные границы *демоса*, вопросы и даже предварительные ответы о социальном производстве [social production] демократических граждан, об институциональных значениях «самоуправления» или «народной власти».

В сущности, основной способ изменить несправедливый мир – это наделить властью ее не имеющих, находящихся в непривилегированном положении, тех, кто обладает правом определять социальную справедливость. XX век видел подъем и спад рабочего движения, когда непривилегированные слои наделялись значительной властью. Были и другие важные народные движения. Европейский и американский национализм XIX века распространился по всему миру, особенно колонизованному. Женское движение выросло в мощную силу, даже не будучи строго организованным. Однако XX век рассматривался, в основном, через призму рабочего движения, которое являло собой единственный пример значительной поддержки женского движения со стороны мужчин; единственный важный пример поддержки антиколониального движения со стороны жителей государства-колонизатора; служило моделью для своего христианско-демократического последователя и конкурента и моделью для своих фашистских врагов. Его потенциальные угрозы у большей части буржуазных социальных реформаторов стояли далеко не на первом месте. Рабочее движение породило две главные революции этого века – напрямую в России и косвенно, через подготовку революционных кадров, в Китае, а также масштабные социальные реформы через скандинавскую социальную демократию. Устойчивая сила движения обеспечила его продолжительный успех, в то время как его слабые места сделали возможным диктаторское развитие революций.

На пороге XXI века силы прав человека и последовательной демократии [consistent democracy] – как сказали бы сегодня, вместо более самоуверенного «освобождение человека», чем занимался Маркс, – нельзя обнаружить в одном или вокруг одного главного движения. Тем не менее, и социолог, и озабоченный гражданин во мне согласятся, что прогресс в решении вопроса прав человека и реальности демократии будет определяться активностью социальных движений тех <граждан>, кого напрямую затрагивает дефицит прав человека и демократии, их требованиям того, что они считают социальной справедливостью.

Перевод с английского Екатерины Горбуновой

Литература

- Batstone, D., and Mendieta, E.* (eds.), *The Good Citizen*, New York and London, Routledge
- Bourdieu, P.* 1992 *Réponses*, Paris, Seuil
- Carter, S.* 1998 *Civility*, New York, HarperPerennial
- Cohen, Jean, and Arato, A.* 1992 *Civil Society and Political Theory*, Cambridge MA, Harvard University Press
- Cohen, Joshua, and Rogers J.* 1995 *Associations and Democracy*, London, Verso
- Diamond, L.* 1997 'Civil Society and the Development of Democracy', Madrid, Instituto Juan March Working Paper 1997/101
- Gellner, E.* *Conditions of Liberty*, London, Hamish Hamilton
- Getty, J.A.* et al, 1993 'Victims of the Soviet Penal System in the Pre-war years: A First Approach on the Basis of Archival Evidence', *American Historical Review* 58:1017-1049
- Glendon, M.A.* 1999 *Intervention in Democracy Some Acute Questions*, Vatican City 1999, p. 368
- Habermas, J.* 1962 *Strukturwandel der Öffentlichkeit*, Neuwied, Hermann Luchterhand
- Habermas, J.* 1992 *Faktizität und Geltung*, Frankfurt, Suhrkamp
- Hall, J.A.* (ed.), 1995 *Civil Society*, Cambridge, Polity Press
- Hirschman, A.* 1991 *The Rhetoric of Reaction : Perversity, Futility, Jeopardy*, Cambridge MA, Harvard University Press
- Keane, J.* 1988 (ed.) *Civil Society and the State: New Emergent European Perspectives*, London, Verso
- Mamdani, M.* 1996. *Citizen and subject: Africa and the legacy of late colonialism.*

- Princeton N.J.*: Princeton University Press.
- Margalit, A.* 1996 *The Decent Society* Cambridge MA, Harvard University Press
- Parkin, R.* 1977 *Encyclopedia of Modern War*, Abingdon, Parnell Book Service
- Putam et al.* 1993 *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton, Princeton University Press
- Rosenblum, N.* 1998 *Membership and Morals*. Princeton, Princeton University Press
- Schumpeter, J.* 1943/1950 *Capitalism Socialism and Democracy*, London, George Allen & Unwin, 3rd ed. 1950 (1st ed. 1943)
- Sen, A.* 1999 *Development as Freedom*, Oxford, Oxford University Press
- Shapiro, I.* 1999 *Democratic Justice* New Haven and London, Yale University Press
- Therborn, G.* 1992. "The Right to Vote and the Four World Routes to/through Modernity". Torstendahl, R. (ed.), *State Theory and State History*, London: Sage, 62-92.
- Transition, August 1999, published by The World Bank/The William Davidson Institute
- Unicef 1999, *The State of the World's Children 2000*, Online ed. December
- World Bank 1999, *Global Economic Prospects*, Online ed., December

Томас Лукман

Замечания об описании и интерпретации диалога*

Онтологические допущения, методологические следствия

Коммуникация является необходимым условием организации социальной жизни. Соответственно, в ходе эволюции среди разных видов сформировались разные формы коммуникации. Независимо от того, какие еще характеристики или комбинации характеристик могут отличать человека от других форм жизни, вероятно, наиболее важная среди них — специфически человеческая форма коммуникации. Язык возник в результате слияния общих с коммуникативными системами приматов свойств и эмерджентных, уникально человеческих черт. В языке, как естественном, так и изобретенном человеком, естественно-искусственном (эти термины предложил Гельмут Плеснер (Plessner, 1961, 1965) в своей философской антропологии), структуры объединяются в функциональную систему. Как форма коммуникации, которая позволяет указывать на объекты и события, находящиеся пространственно и темпорально вне пределов досягаемости участников взаимодействия, эта система важна для организации социального взаимодействия. Но еще важнее то, что она выступает необходимой предпосылкой накопления, от поколения к поколению, социальных запасов знания, образующихся во взаимодействии (Schutz and Luckmann, 1973). Эти запасы знания становятся частью социально-культурного априори (традиций, культур), которое кодeterminирует организацию социального взаимодействия в исторических обществах.

Человеческая социальная реальность конституировалась как коллективная арена субъективно осмысленного социального взаимодействия в длинных цепочках прямых, intersубъективных коммуникативных процессов, в диалоге, и поддерживается и трансформируется в этих процессах. Поэтому анализ диалога является главной задачей не только дисциплин, специализирующихся на исследовании языка как системы коммуникативных форм, но и всех остальных социальных наук, которые изучают процессы коммуникативного взаимодействия и их результаты.

Первая трудность при анализе диалога, как и любых процессов человеческого взаимодействия, — это превращение коммуникативных процессов в поддающиеся анализу данные. Именно этой трудностью можно объяснить то, почему различного рода данные предпочитались и, в общем, до сих пор предпочитают в гуманитарных науках. На фоне быстротечности процессов взаимодействия и коммуникации, их квазиобъективные продукты кажутся стабильными, допускающими неспешные и верифицируемые описание и анализ. Методологическое предпочтение, отдаваемое социальными науками искусству и артефактам, актуарной статистике и реестрам, документам и другим «материальным» объектам, было основано на предположении, что эти процессы недоступны точному описанию и что субъективное необъективируемо. Методологическое пристрастие, определяемое технической трудностью фиксации процессов социального взаимодействия, привело к искажению теоретического представления о человеческой реальности. В итоге односторонне привилегированным статусом был наделен *εργον* человечества, ценой его *ενεργεια*, если мне будет позволено обобщить термины, которые Вильгельм фон Гумбольдт (von Humboldt, 1836) применял для характеристики двух фундаментальных аспектов языка.

Однако данные, основанные на относительно стабильных продуктах социального взаимодействия и коммуникации, представляли собой лишь верхушку гигантского айсберга

* Luckmann, T. (1999). Remarks on the Description and Interpretation of Dialogue. *International Sociology*, 14(4), 387-402.

© Центр фундаментальной социологии, 2003.

© Корбут А., 2003.

социальной реальности. Большая его часть оставалась погруженной в *практику* повседневной жизни. Казалось, что она никогда не станет доступной для прямого наблюдения, детального изучения и точного анализа. Полевые записи этнографов считались неадекватно отражающими эфемерные процессы, наблюдаемые «в поле». Кроме того, они были открыты для обвинений — часто довольно поверхностных — в субъективной, культурной, классовой или, с недавних пор, гендерной предубежденности. Поэтому был предпринят поиск того, что позволило бы осуществить по крайней мере не прямое наблюдение основной части айсберга, хотя, будучи непрямым, оно все-таки должно было опираться на надежные методы постижения. В некоторых ответвлениях современной социальной науки замену прямого наблюдения нашли, предположительно, в симуляциях взаимодействия в ситуациях «лабораторных» экспериментов, в других — в квазиобъективной фиксации квазиизмеримого «мнения». Такая ситуация преобладала в психологии и, за некоторыми выдающимися исключениями, в социологии с первых десятилетий двадцатого века. Даже социальная антропология, похоже, начала испытывать угрызания совести за то, что она продолжает применять полевое наблюдение и по-прежнему полагается при сохранении наблюдений на селективную призму полевых записей.

Возможность точного анализа процессов, в которых производится все многообразие материальных и нематериальных продуктов социального взаимодействия, зависит от возможности «замораживания» этих процессов для последующего повторного изучения (Bergmann, 1985). Это нельзя было осуществить до появления в относительно недавнем прошлом технологии сначала аудио-, а затем и видеозаписи подобных процессов. Тем не менее, данные нововведения не заменили анализ продуктов социального взаимодействия, начиная с пищи, одежды, орудий труда, заводов, церквей, тюрем и кладбищ и заканчивая кодексами законов, реестрами рождаемости, музыкальными партитурами, литературой и т. д. Исследования этих продуктов по-прежнему заслуженно проводятся, а производство продолжает выступать *целью* взаимодействия. Однако симуляции социальной реальности — артефакты квазиобъективности — похоже, становятся динозаврами методологии социальной науки. Внимание и усилия все больше и больше должны направляться на анализ «процесса производства», связанного с «продуктом» и его «потреблением», то есть на взаимодействие или диалог как, одновременно, *элемент* социальной реальности и *источник* большей ее части¹.

Если привычно упростить рекурсивную природу всего научного предприятия, то можно сказать, что научный анализ «начинается» с выработки данных, а именно с наблюдения и описания того, что было увидено. Упорядочивание данных на более высоких уровнях обобщения «заканчивается» объяснением, то есть сведением данных в рассказ о предшествующих условиях и следствиях в терминах причин и функций. Фундаментальное предположение состоит в том, что есть нечто, что можно наблюдать, описывать и объяснять и что существует до наблюдения, описания и объяснения. За исключением интеллектуально бесплодного дискурса некоторых современных центров постмодернистской моды, это предположение остается базовым допущением научного сообщества. Наука разделяет онтологический реализм со здравым смыслом. Однако здравый смысл рассматривает «реальность» как очевидную и не требующую вопросов; его реализм эпистемологически наивен. Такая наивность не имеет права — хотя это периодически случалось раньше и случается теперь — становиться формой, которую принимает реализм в науке. Она преодолевается, во-первых, посредством рефлексии конститутивной роли описательных и объяснительных *действий* человеческого разума при описании и объяснении и, во-вторых, посредством обращения исторически и социологически искушенного взгляда на влияние, оказываемое на эти действия *традициями* («парадигмами») сообщества исследователей.

В этом отношении нет никакого существенного различия между естественными и социоисторическими, гуманитарными науками. И те и другие реалистичны, не должны быть

¹ Этнометодология и ее ответвление, анализ разговорной речи, первыми начали исследовать эту относительно неизведанную территорию.

эпистемологически наивными в своем реализме и имеют общую объяснительную (космологическую) цель.

Однако различие *есть*, и немаловажное. Беспристрастный взгляд на «нечто», существующее там для социальных наук, показывает, что оно существует в особой форме. Поскольку это «нечто» должно быть адекватно превращено в данные и поскольку его следует объяснить так, чтобы отдать должное человеческой природе данных, эта особенность должна приниматься в расчет с самого начала. Несомненно, все в человеческом мире, включая это «нечто», существующее там для социальных наук, может быть рассмотрено как существующее там тем же самым элементарным способом, каким существует все в мире: как часть окружающей действительности. Люди являются частью природы; все, что известно о них на физическом, биохимическом, биологическом, физиологическом уровнях объяснения, может обеспечить ответы на вопросы в рамках общей космологической парадигмы, систематически заполняя один уровень на другим. Однако дисциплины, ориентированные на изучение этих природных уровней, дают мало прямых ответов на вопросы, касающиеся человеческих дел как *специфически* человеческих, исторических дел. Они могут помочь ответить на них непрямо, путем описания эмерджентного характера «искусственной» человеческой природы, эволюционной истории нашего вида. Связь между дискурсом естественных и гуманитарных, социоисторических наук важна во многих отношениях, особенно для прояснения того, что именно в человеке главным образом от животного, позвоночного, млекопитающего или примата, и что в нем специфически человеческое (см., например, Luckmann, 1979). Эта связь должна быть систематической связью между уровнями дискурса; она должна избегать того, что в философии известно как категориальная ошибка, ошибка, часто принимающая вид анекдотических и метафорических скачков с одного уровня на другой.

Как обычные люди мы знаем, или думаем, что знаем, кое-что о человеческих делах и действуем на основании этого знания. Независимо от того, насколько правильно наше знание в соответствии с некоторым внешним критерием, оно направляет действие и ведет к «реальным» результатам: «Если люди [*sic*] определяют свои ситуации как реальные, они реальны по своим последствиям» (Thomas, 1928). Однако знание проверяется на опыте, так что относительная правильность по крайней мере некоторых, если не всех, видов знания является следствием практики. Время от времени мы обнаруживаем, иногда с болезненными для себя как индивидов или как составных элементов коллективных организмов последствиями, что нашего знания недостаточно для достижения практических целей в повседневной жизни. Даже если мы не мотивированы общим любопытством к тому, «почему» и «как» происходят события, не затрагивающие наших непосредственных интересов, из практических соображений мы должны знать больше и, следовательно, занимать теоретическую установку. Эта установка рано или поздно выходит за пределы здравого смысла и, при некоторых исторических социоструктурных условиях, ведет к формированию разного рода космо(мифо)логических теорий. Одна из, возможно, случайных линий ее исторического развития привела к появлению современной науки. Но даже тогда, за внешним обликом мифа, теории и науки, некоторые предположения, лежащие в основе нашей практической деятельности в повседневной жизни, которые де-юре принесены в жертву превосходящей теоретической интуиции, де-факто не отброшены и продолжают считаться само собой разумеющимися.

Мы считаем само собой разумеющимся, что люди делают (или не делают) что-либо, потому что они хотят (или не хотят) это делать. Данное фундаментальное убеждение не поколебали ни исламский и кальвинистский варианты доктрины предопределения, ни бихевиоризм. Если создается впечатление, что люди делают нечто, противоречащее их желаниям, мы предполагаем, что у них есть веские основания делать это — или что они сошли с ума. Мы считаем само собой разумеющимся, что человеческие действия — если это не действия одержимого — мотивируются чем-то предшествующим действию в сознании акторов. Мы считаем само собой разумеющимся, что действия ориентированы на

достижение ближайших или отдаленных будущих целей. Мы не сомневаемся, что люди предпринимают определенные действия тогда, когда думают, что шаги, которые они осуществляют, имеют шанс (при некоторых обстоятельствах, возможно, минимальный) привести к желаемой цели. Короче говоря, мы полагаем, что действия ведут к ожидаемым последствиям — тем, которые, как мы надеемся, должен вызвать акт. Очевидно, именно по этой причине мы в первую очередь действуем. Если определенные действия постоянно не достигают поставленных нами целей, мы обычно пересматриваем свое знание о шансах на успех. Кроме того, нередко мы обнаруживаем, к своему прискорбию, что действия, как внешне тривиальные, так и важные, приводят к результатам — иногда сразу, иногда гораздо позже по ходу нашей жизни, — которых мы не предполагали или даже хотели избежать. Мы так же замечаем, что не только наши современники, но и наши предшественники — конкретные люди и огромное число анонимных индивидов — влияют на нашу жизнь, иногда даже много времени спустя после своей смерти. Другими словами, мы обнаруживаем, что человеческие дела — это *социальные* дела, что социальные дела — это *исторические* дела и что отличительной особенностью исторических дел является комбинация целенаправленной человеческой деятельности и некоторой степени *случайности*.

Это и является источником той особенности, которой отмечено «нечто», существующее там для социальных наук, причем существующее там независимо от них, до выработки данных и их объяснения. Данная особенность — субъективная и интерсубъективная осмысленность человеческих дел в целом и социального взаимодействия в частности — не должна игнорироваться гуманитарными науками с единственной целью — избежать методологических трудностей, которые она создает. Если она игнорируется, то вместе с ней игнорируется все специфически человеческое в человеческой жизни. Чтобы предотвратить такие фатальные последствия, к тем двум допущениям, которые социальные науки разделяют с естественными, необходимо добавить еще одно. Это в одинаковой мере реалистическое допущение (артикулированное в современном дискурсе уже в «антропологических» работах Маркса) о том, что каковы бы не были предполагаемые универсальные физические и биологические условия, человеческие дела, включая многие из тех, которые производят впечатление своей неизменности, конституируются в человеческих действиях и что человеческие действия в значительной мере определяются *второй природой*, преднамеренными и непреднамеренными последствиями длительных цепочек предшествующих действий.

Повторим: *первое* допущение, разделяемое с другими науками, состоит в том, что данные социальных наук конструируются описаниями того, что уже существует «там» вне этих конструкций. *Второе* допущение, также разделяемое с другими науками, состоит в том, что описательная и объяснительная деятельность любой науки является конститутивной для описаний и объяснений и что эта деятельность находится под влиянием традиций сообщества исследователей. *Третье* допущение не разделяется с другими науками. Оно состоит в том, что «нечто», существующее «там» для социальных наук, не поддается прямому или инструментально опосредованному наблюдению и описанию. В социальных науках то, что было уже (пред)сконструировано в деятельности, направляемой практической установкой повседневной жизни, реконструируется в теоретической установке науки в соответствии с общей космологической целью. Описательные процедуры получения данных являются, тем самым, рефлексивными процедурами. Систематическая оценка этой рефлексивности по крайней мере столь же важна для социальных наук, как «теория» измерения — для физики. Та роль, которую протофизика играет в последней, протопсихология и протосоциология — предоставляемые, как мне кажется, феноменологией жизненного мира — играют в первых (Janich et al., 1974; Böhme, 1976; Luckmann, 1973).

В терминологии, предложенной Альфредом Шюцем, «там» для социальных наук существует область (повседневных) конструкторов первого порядка. Они конституируются как типичные смыслы, которые различные виды взаимодействия имеют для обычных людей. Область конструкторов второго порядка состоит из систематических «идеализаций»

конструктов первого порядка, теоретически мотивированных трансформаций конструктов первого порядка в конструкты второго порядка (Schutz, 1962, 1964, 1966).

Обе области включают несколько уровней. Конструкты первого порядка являются конструктами «обыденного языка». Они варьируются в диапазоне от таксономий общепринятого языка, словарей мотивов и т. п. до риторики действия и (мифологических, квазинаучных и т. д.) этнотеорий. Конструкты второго порядка реконструируют их, уделяя внимание их повседневной структуре и формализуя их на различных уровнях обобщения. Нужно помнить, что конструкты второго порядка — *не* объяснения. Формулирование конструктов второго порядка происходит все еще на описательном уровне научной процедуры, там, где вырабатываются данные. С другой стороны, конструкты второго порядка не просто воспроизводят конструкты первого порядка. Конструкты первого порядка представляют собой типичные смыслы, которые действия имеют для акторов. Они вытекают из практических интересов акторов и социально объективируются в коммуникативных процессах, которые структурированы в соответствии системами релевантности, преобладающими в повседневной жизни. Конструкты второго порядка являются селективными, идеально-типическими реконструкциями этих типичных смыслов и констелляций типичных мотивов, которые определяют ход различных видов действия. Они селективны, поскольку в той мере, в какой ими управляет теоретическая система релевантности, интерес к осуществлению классификаций в сравнительных целях означает выявление как общих структур исторических социальных миров, так и специфических генеалогий подобных структур. Они представляют собой идеально-типическую попытку специфицировать диапазон типичности в применении к различным областям взаимодействия — от «локальных» (в рамках времени, то есть эпохи и поколения, и пространства, то есть культурно-социального региона и среды) до универсально человеческих.

Селективность и идеально-типическая формулировка конструктов второго порядка определяют их методологический статус. Хотя они принадлежат, как только что было сказано, к дескриптивному уровню научной процедуры, они не полностью аналогичны «объективным» измерениям в физических науках. Реконструкция типичных смыслов, идущая от «локального» к универсальному, — это шаг, который существенно отличается от соответствующего шага выработки данных в физических науках. Конструкты второго порядка являются результатом не измерений, а интерпретаций. Строго говоря, они являются результатом интерпретаций *пред*интерпретаций. Интерпретативными процедурами движет теоретический интерес к выявлению «локальных» и универсальных типичностей с целью оценки «локальных» и универсальных особенностей социального взаимодействия, социальной структуры и «культуры». Как результат, описательный уровень получения данных в методологии социальной науки оказывается близко связан с ее теоретическим и объяснительным уровнем. Отношения между теорией и данными здесь более тесные, чем это постулируется в традиционной гипотетико-дедуктивной модели. Но, повторяем, вне зависимости от того, как строятся «теоретические» конструкты второго порядка, они не составляют объяснительной теории.

Подобные реконструкции специфицируются как «локальные» или «универсальные» (или как промежуточные, можно сказать, «региональные») в категориях времени, пространства и области. Первые спецификации касаются, конечно, самих данных. Вопросы — это вопросы, а ответы — это ответы. На втором, формализующем шаге устанавливаются структурные сходства, например, в нашем случае, смысло-структура «смежных пар», которая характеризует не только вопросы и ответы, но также приветствия и встречные приветствия, и т. д. Другой, более сложный пример, тоже взят из сферы коммуникативного взаимодействия, — коммуникативные жанры. Они представляют собой формализованные реконструкции типичных и, при некоторых условиях, обязательных для определенных разновидностей коммуникативных проектов intersубъективных смысловых моделей (см. Luckmann, 1995).

Частота возникновения как типичной смысловой структуры, так и условий ее актуализации в социальном взаимодействии устанавливается посредством идентификации «случаев» («идентичность» которых узнается в результате применения только что обсужденных интерпретативных процедур) и «подсчета» этих случаев при помощи соответствующих методов «выборки» или полных перечней.

Если отталкиваться от «локальных» конструкторов первого порядка, то первое, что бросается в глаза, — их культурная и историческая специфичность. Они артикулируются в различных обыденных языках, принятых в конкретном времени и месте. Шаги формализации, ведущие к появлению конструкторов второго порядка, в порядке пробы расширяют диапазон применимости к другим средам, культурам и периодам. Для того чтобы обосновать такое расширение, конструкторы второго порядка используются как инструменты поиска, как эвристики, что показывает, возможна ли их ретрансляция в соответствующий обыденный язык и «согласуются» ли они с конструкторами первого порядка в соответствующей области взаимодействия.

Интерпретация как реконструкция смыслов коммуникативного взаимодействия

Реалистическое допущение о том, что человеческое действие осмыслено и что первый шаг при анализе смысла действия состоит в реконструкции типичных смыслов, которые действия имеют для типичных акторов, ставит весьма сложные вопросы перед методологией гуманитарных наук. Мы не должны от них уклоняться, если хотим — говоря в терминах Вебера — сохранить «субъективную адекватность» «объективных» типологий социальной реальности (Weber, 1968).

В обыденной жизни индивиды исходят из молчаливой предпосылки, что как их собственные действия типично осмысленны для них самих, так и действия других типично осмысленны для них. Именно на основании этого они способны более или менее успешно предсказывать последствия своих проектов и, опять же, с различной степенью удачности, предвидеть действия других индивидов. В социальном взаимодействии особенно важна область антиципаций в отношении реакций других на собственные действия. Достоверность указанной предпосылки — которая объясняет тот факт, что социальные миры не являются абсолютно хаотичными, — подтверждается снова и снова как для заинтересованного участника, занимающего практическую установку повседневной жизни, так и для незаинтересованного наблюдателя, занимающего теоретическую установку социальной науки.

Хотя общую достоверность этой предпосылки нельзя поставить под серьезное сомнение, более детальное ее рассмотрение обнаруживает некоторые методологические проблемы. Каковы эти проблемы и как возможна, несмотря на них, более или менее точная реконструкция типичных смыслов действий?

Во-первых, не все действия социально объективированы в терминах общепринятого языка, по крайней мере, не в такой форме, чтобы их можно было непосредственно соотнести с мотивами и целями (по шюцевской терминологии — мотивами «потому-что» и «для-того-чтобы»).

Нет никаких оснований полагать, что существует полная изоморфия между тремя различными уровнями реальности: социально объективированной семиотической системой обыденных языков, индивидуальным запасом знания и смысло-структурой субъективного опыта. Если принять во внимание огромное разнообразие синтаксических и лексических структур, составляющих универсальное ядро структуры человеческого сознания, то фактически внутренняя форма языка говорит против такой изоморфии, даже если бы для этого не было никаких иных оснований.

Как правило, термины общепринятого языка относительно четко очерчивают контуры субъективных смыслов действий с целью обеспечения возможности intersubjectивной коммуникации по поводу этих смыслов действий. Любое общество испытывает

фундаментальную потребность в (по крайней мере приблизительно семантическом) согласии. Эта потребность варьируется в диапазоне от требований координации рабочих процессов в настоящем с целью планирования совместной деятельности в будущем до пропорционального распределения ответственности за прошлые действия. При отсутствии подобных терминов не следует делать априорный вывод о том, что действия «бессмысленны» для актора. Однако когда этих терминов недостаточно для интерсубъективной коммуникации на уровне конструкторов первого порядка, их реконструкция второго порядка оказывается, соответственно, более сложной.

Во-вторых, степень точности терминов общепринятого языка, указывающих на смысл действия, бывает различной. Смысл некоторых действий объективируется в относительно неопределенных понятиях и фразах. Адекватно ли репрезентирует неопределенность терминов соответствующую неопределенность смысла, который действие имеет для акторов, остается открытым вопросом. Смысл может быть даже неопределеннее или равно неопределенным, хотя может быть и заметно более точным. Эту проблему сложно решить в ходе реконструкции и менее всего при помощи последующих вопросов. Однако рассмотрение «контекста» — больше в последнем случае — может помочь нам. Все эти проблемы особенно остро встают при реконструкции типичных смыслов действий, которые *не* направлены на других индивидов. Подобные действия не представляют интереса ни для одной из социальных наук, за исключением психологии. Поднимаемые ими методологические проблемы имеют лишь минимальное и косвенное значение для исследования социального взаимодействия.

В-третьих, типичные для участников смыслы социальных интеракций почти регулярно объективируются в терминах и фразах общепринятого языка, в интерсубъективно понятных словарях целей и мотивов, в таксономиях планов и направлений действия в различных областях (например, в областях труда и досуга в повседневной жизни), в лексике и риторике сообщений, оправданий, упреков, обвинений и т. д. «Ярлыки», навешиваемые участниками социального взаимодействия на то, что делают они сами и другие, можно рассматривать как конструкторы первого порядка, которые обычно представляют собой разумно приемлемые смыслы, на которые участники совместно и взаимно ориентируются — в границах своих субъективных перспектив, конечно же.

Таким образом, проблемы, возникающие при реконструкции типичных ядерных смыслов социального взаимодействия, не столь серьезны, как те, с которыми столкнулись определенные области психологии, изучающие субъективный смысл индивидуального опыта. Конечно, даже этот смысл в значительной мере «социализируется» семантикой обыденного языка. Однако идиосинкразическая кайма смысла, окружающая ядерные смыслы в любом конкретном примере исторически и биографически уникального субъективного опыта, как правило не интересует методологию социальных наук.

Этот вопрос может по-иному видаться художниками, например, поэтами, даже в рамках строгих литературных жанров, а также учеными, изучающими поэтические произведения и их субъективные истоки. Если развить этот пример, то, возможно, было бы полезно рассмотреть различные виды субъективных «отклонений» от ядерных смыслов опыта и действия как *потенциальные* источники изменений. «Отклонения» обычно будут приписываться «уникальному контексту» истории жизни индивида. Если значимые аспекты этого «уникального контекста» начинают определять условия жизни других, быть может, в результате социально-структурных преобразований, «отклонения» становятся все более типичными для разных видов действия и опыта в определенной среде и, при некоторых условиях, во всем обществе. Отсюда следует, что игнорирование выглядящих идиосинкразическими «отклонений» может привести к обеднению методологии, а поскольку подобные «отклонения» могут быть предвестниками изменений, их игнорирование угрожает серьезными опасностями. Реконструкции смысла социального взаимодействия в целом и коммуникативного взаимодействия в частности должны, поэтому, уделять внимание не только устоявшимся, но и зарождающимся типичностям.

В-четвертых, в случае коммуникативного социального взаимодействия обозначенные проблемы менее остры, по крайней мере, в еще одном важном отношении. Типичные смыслы коммуникативного взаимодействия актуализируются самими акторами. Коммуникативные проекты акторов в диалоге являются проектами, которые, по определению, используют социально объективированные ресурсы языка и других семиотических систем. Сторона «выработки» непосредственно связана со стороной «восприятия» и чередуется с ней. Другими словами, коммуникативные проекты переплетаются в темпоральной последовательности. Они воплощаются в (не полностью) «дискретных» лингвистических элементах (в таких минимальных единицах смысла, как слова, тональные единицы, сигналы о получении сообщения и т. д.), а также в по-разному обязательных последовательностях (диалогических «смежных парах», «более слабых» формах удвоения и т. д.). В коммуникации лицом к лицу они так же воплощаются в экспрессивных структурах и нелингвистических (жестикоуляционных, мимических и т. п.) семиотических системах. Они используются при рутинном употреблении языка в диапазоне от идиоматических фраз до жанров.

Знание лингвистических и других семиотических систем, как выразительных структур, так и жанров, может молчаливо функционировать и оседать в квазиавтоматически реализуемых привычных коммуникативных практиках. Оно может быть эксплицитным, может даже входить в коммуникативные этнотеории и применяться в осознанно выстроенных коммуникативных проектах. И молчаливое и эксплицитное знание является частью социального запаса знания общества, социального класса, среды или группы. Иными словами, оно социально распределено, целиком или ограниченно, в зависимости от типа общества и функций конкретной подсистемы задействованного знания. Таким образом, поскольку элементарная коммуникативная компетентность является предварительным условием участия, составляющие ее знания обычно передаются в процессе первичной социализации. Специальные навыки, например, знание определенных коммуникативных жанров, могут стать частью экспертного знания, которое доступно только внутри специальных карьер в пределах вторичной социализации. Кроме того, знание о социальном распределении знания, включая знание о социальном распределении коммуникативного знания, само является частью социального запаса знания (оно особенно ценно как ресурс для планирования «формы получения сообщения» в коммуникативных проектах). Оно тоже социально распределено, более или *менее* равномерно.

«Единицы» смысла и контекстов

Один из самых сложных вопросов, возникающих при реконструкции типичных смыслов, ассоциируемых с типичными действиями, связан с тем фактом, что смыслы не являются независимыми, изолированными «единицами» (Simmel, 1957). Их невозможно измерить по пространственно-временной шкале и нельзя реконструировать как замкнутые и обособленные «элементы». Безусловно, типичные смыслы имеют контуры, которые в некоторой степени отделяют их в индивидуальном потоке сознания от того, что следует до и после них, например, как темпорально и пространственно ограниченные проекты действия. Они отличаются от других типичных ядерных смыслов, например, альтернативных проектов действия, с различной степенью отчетливости, и по мере того, как они сменяют друг друга в потоке опыта, индивид может фиксировать их, в рефлексии, с различной степенью ясности.

Опять же, что касается целей реконструкции, в случае коммуникативного взаимодействия проблемы не столь сложны. Участники диалога, как и не прямых, опосредованных форм коммуникации, обладают рутинным сознанием — или даже эксплицитным знанием — идеализированных сегрегированных форм как носителей смысла (высказываний; в языках, которые состоят из слов, — слов, и т. д.). В принципе, в процессе коммуникации они могут узнавать их как конститутивные единицы. Однако это не означает, что данные конститутивные единицы фиксируются аналогично тому, как разыскиваются

отдельные статьи в словаре. Они обязательно «вложены» в более широкие целостности, которые несут в себе объемлющий смысл, синтагматически и парадигматически объединяющий эти «единицы».

Какой бы не была мельчайшая единица смысла, которую можно обнаружить в человеческом опыте, — а это дополнительный вопрос (обсуждаемый Зиммелем [Simmel, 1957]) — она обязательно включена в несколько различных «линий» объемлющей смысловой структуры. Наиболее важные из них принадлежат индивидуально-биографическим системам релевантности, институционально определенным «карьерам» в дифференцированных регионах социальной жизни и взаимодействия и религиозным иерархиям смысла. В каждом конкретном случае взаимодействия — здесь нас особенно интересует коммуникативное взаимодействие — конститутивные «единицы» смысла, вероятно, «вложены» одновременно в более чем одну из несовпадающих объемлющих смысловых структур. Однако так же вероятно, что в зависимости от ситуации (которая, безусловно, является социальной ситуацией, соопределяемой другими ее участниками) различные сверхупорядоченные смысло-структуры будут неодинаково релевантными или неодинаково определяющими в отношении «вложения» конститутивных смысловых «единиц».

Очевидно, что реконструкция конструкторов первого порядка — это не простой вопрос идентификации «единиц» смысла (как будто бы этот вопрос сама по себе прост!). Она обязательно предполагает реконструкцию множественной включенности смысловых «единиц» в более широкие смысло-структуры. Видимо, невозможно специфицировать, что именно наиболее релевантно и определяюще в любом конкретном, уникальном историческом примере взаимодействия и диалога. Но теоретический интерес социальных наук к сравнению и обобщению мотивирует даже на этом описательном уровне исследования, где происходит выработка данных, реконструкцию типических «единиц» смысла в типичных структурах включенности, которые предопределяются как в институционально-культурной коллективной практике, так и в личностно-центрированных социальных определениях «карьер» и направлений жизни.

Понятно, это не простые вопросы. Не существует легкого решения проблем, возникающих при реконструкции смысла социального взаимодействия и диалога. Для некоторых целей можно, наверное, — хотя я сомневаюсь в этом — упростить проблемы при помощи грубых методов, например, «контент-анализа» или кодировки схем взаимодействия. Трудности игнорируются в силу того, что Сикурель (Cicourel, 1964) назвал методологическим *принуждением*. Субъективная адекватность квазиобъективных данных, тем самым, теряется, независимо от того, какие приемы используются для проведения предварительной проверки. Последовательный анализ диалога, с другой стороны, шаг за шагом прослеживает интересующее конституирование интерактивного и диалогического смысла и благодаря этому поддерживает субъективную адекватность конструкторов второго порядка. Однако его, как это и должно быть, чрезвычайно сложно применить к изучению больших корпусов «текстов», а не только предварительно отобранных примеров. Его сложно применить, но несмотря на трудности (неопределенность/точность, свехартикулированность/недоартикулированность, изолированные единицы/«вложение» и т. д.), с которыми сталкивается последовательная пошаговая реконструкция, для соблюдения базового методологического принципа «субъективной адекватности» остается истинным правило удержания, насколько возможно, перспектив акторов (их систем релевантности).

Было бы верно, но банально утверждать, что каждое слово, каждая фраза, каждый коммуникативный эпизод будут иметь разное значение для разных людей. Верно, потому что уникальная биография индивида и субъективная система релевантности предоставляет возможность определенной идиосинкразической вариации. Банально, потому что ключевым моментом коммуникативного взаимодействия является то, что участники действуют на основании предположения, что при любых практических целях и пока нет явного

свидетельства противоположного лексические элементы интерпретируются приблизительно одинаковым способом и что коммуникативные проекты во всей своей целостности, с включенными в них смыслами и последовательностью реализации, тоже практически понятны. Отсюда следует, что типические «единицы» смысла и типичные структуры включенности — это не произвольные теоретические концепты, а конструкторы второго порядка, которые тесно связаны со структурой концептов первого порядка, используемых обычными людьми. Реконструкция типичного «вложения», актуализированного в смысле коммуникативных проектов, принципиально возможна, независимо от того, насколько велики технические трудности и насколько «неэкономичны» процедуры последовательного анализа диалога.

Эти трудности обычно, и вполне обоснованно, обсуждались как проблемы (реконструкции) контекста и в самом широком, и в более точном, узком смысле этого слова (см., например, Gumperz, 1982). В методологии интерпретативной реконструкции контекст указывает на контекст смысла для акторов. Задача реконструкции, поэтому, заключается в «формализации» и «идеализации» типически релевантных знаний и предположений участников взаимосвязанных коммуникативных проектов, знаний и предположений, без которых акторы не могли бы понимать друг друга и без которых аналитик не мог бы понимать акторов, — то есть контекста, который делает текст понятным.

В заключении было бы полезно схематически описать основные типы предположений и знаний — в рамках фундаментального принципа взаимности перспектив, — которые обычно не являются частью «текстов», но на которые должны опираться интеракторы при осуществлении взаимодействия.

Интерактивный «контекст»

1. Предположения о степени, в которой применим принцип взаимности перспектив, а именно предположения о нормальности других.

2. Предположения о степени, в которой другие разделяют в релевантных пропорциях социальный запас знания и коллективную память общества, группы и института.

3. Знание о степени, в которой другие разделяли прошлые взаимодействия, начиная с кратковременных биографических встреч и заканчивая длительными отрезками совместной жизни. Такое знание может характеризоваться различной точностью.

4. Знание, смешанное с предположениями, об актуальной ситуации, точнее, о степени, в которой мир, находящийся в пределах досягаемости (в своих пространственных, временных и социальных измерениях), разделяется с другими участниками. Очевидно, что такое знание определяет границы успешного дейксиса.

Диалогический контекст

При реконструкции смысла коммуникативного взаимодействия следует рассматривать все аспекты интерактивного «контекста». Но к ним добавляются некоторые специфические аспекты диалогического контекста:

1. «Коллективная память» о прошлых коммуникативных эпизодах, разделяемая с другими. Этот аспект контекста может создавать препятствия для интерпретации, пока он не переводится в «текст» («Но вчера ты обещал...»).

2. С самого начала коммуникативного эпизода участники начинают разделять воспоминания (в разной мере точные и правильные) о том, что было сказано и сделано. В каждый последующий момент эпизода предшествующие части коммуникативной и, в целом, интерактивной последовательности автоматически релевантны, хотя не обязательно определяющие, для практического понимания текущего коммуникативного процесса его участниками. Поэтому они релевантны для реконструкции аналитика. Иногда, так же, предшествующая часть становится определяющей и повторно вводится в «текст» («Но ты

только что сказал, что...»), тем самым делая эксплицитным то, что имплицитно присутствует в диалоге. Это контекст в самом узком и наиболее точном смысле слова.

3. Наконец, в контекст диалога может входить своеобразная «интертекстуальность». Участники могут узнавать цитаты, принадлежащие известным им — но не аналитику — людям или «медиа-текстам», известным им, но не аналитику (например, из MTV). Реконструкция почти невозможна, если цитата не обозначена просодически (что обычно и происходит, но при этом известно лишь то, что *что-то* цитируется; значение цитаты для текущего коммуникативного процесса может с трудом поддаваться расшифровке) или если она полностью не реконструируется самими акторами («Джон рассказал мне этот анекдот еще на прошлой неделе, но я не хотел прерывать тебя, потому что ты рассказываешь анекдоты гораздо лучше Джона»).

Перевод с английского Андрея Корбута

Литература

- Bergmann, Jörg (1985) 'Flüchtigkeit und methodische Fixierung sozialer Wirklichkeit', in W. Bonss and H. Hartmann (eds) *Entzauberte Wissenschaft. Zur Relativität und Geltung sozialer Forschung*, special volume of *Soziale Welt* 3: 299-320.
- Böhme, Gernot, ed. (1976) *Protophysik. Für und wider eine konstruktive Wissenschaftstheorie der Physik*. Frankfurt: Suhrkamp.
- Cicourel, Aaron (1964) *Method and Measurement in Sociology*. Glencoe, IL.
- Gumperz, John (1982) *Discourse Strategies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Janich, Peter, Kambartel, Friedrich and Mittelstraß, Jürgen (1974) *Wissenschaftstheorie als Wissenschaftskritik*. Frankfurt: Aspekte.
- Luckmann, Thomas (1973) 'Philosophy, Science and Everyday Life', in Maurice Natanson (ed.) *Phenomenology and the Social Sciences*. Evanston, IL: Northwestern University Press.
- Luckmann, Thomas (1979) 'Personal Identity as an Evolutionary and Historical Problem', in Mario von Cranach, Kurt Foppa, Wolfgang Lepenies and Dieter Ploog (eds) *Human Ethology: Claims and Limits of a New Discipline*. Paris and Cambridge: Cambridge University Press.
- Luckmann, Thomas (1995) 'Interaction Planning and the Intersubjective Adjustment of Perspectives by Communicative Genres', in Esther Goody (ed.) *Social Intelligence and Interaction. Expressions and Implications of the Social Bias in Human Intelligence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Plessner, Helmuth (1961) 'Conditio Humana', in *Propyläen-Weltgeschichte*, Vol. I. Berlin.
- Plessner, Helmuth (1965) *Die Stufen des Organischen und der Mensch — Einleitung in die philosophische Anthropologie*. Berlin: De Gruyter. (Originally published 1928.)
- Schutz, Alfred (1962) *Collected Papers*, Vol. I. The Hague: Phoenomenologica.
- Schutz, Alfred (1964) *Collected Papers*, Vol. II. The Hague: Phoenomenologica.
- Schutz, Alfred (1966) *Collected Papers*, Vol. III. The Hague: Phoenomenologica.
- Schutz, Alfred and Luckmann, Thomas (1973) *The Structures of the Life-World*, Vol. I. Evanston, IL: Northwestern University Press.
- Simmel, Georg (1957) 'Das Problem der historischen Zeit', in *Brücke und Tür*. Stuttgart: Koehles.
- Thomas, W. I. (1928) *The Child in America*. New York.
- Von Humboldt, Wilhelm (1836) *Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts*. Berlin: Schneider.
- Weber, Max (1968) *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, ed. J. Winckelmann. Tübingen: Mohr. (Originally published 1922.)

РЕФЕРАТЫ

Ганс-Петер Мюллер
СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ЖИЗНЕННЫЕ СТИЛИ.
НОВЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС О СОЦИАЛЬНОМ НЕРАВЕНСТВЕ

HANS-PETER MÜLLER
Sozialstruktur und Lebensstile.
Der neue theoretische Diskurs über soziale Ungleichheit
Frankfurt am Mein: Suhrkamp, 1997. – 435 S.

В книге предпринимается попытка проанализировать современный дискурс о социальном неравенстве. Этот анализ реализуется посредством рассмотрения социально-структурной теории Питера Блау, социо-политической теории Энтони Гидденса и социокультурной теории Пьера Бурдьё. На основе анализа этих теорий в книге осуществляется и систематическая разработка проблематики социального неравенства. Ключевым моментом систематического построения является методологическое обоснование «понятия жизненного стиля», а также экспликация этого понятия в содержательном плане*

В течение длительного времени главным средством анализа социальной структуры служило исследование классов, слоев и социальной мобильности. Неравное распределение ресурсов, базирующееся на нем формирование статусных групп и иерархическое расположение этих статусных групп является основой социального строения того или иного общества. Описание такого строения может быть расширено до системной характеристики посредством анализа микросоциальных процессов рекрутирования индивидов для определенных социальных позиций, анализа социальной мобильности, а также посредством анализа участия в этих процессах таких институциональных сфер как семья, система образования, система занятости и государство. Охарактеризованный подход, получающий различные теоретические выражения, можно назвать «парадигмой структурированного социального неравенства».

Эта парадигма включает столь противоположные теоретические традиции как марксистские и немарксистские теории классов, с одной стороны, и ориентированные на объяснение социальной интеграции функционалистские и интеракционистские теории расслоения – с другой. Таким образом, указанная парадигма образует «минимальный консенсус» в социологической теории.

С 1970-х и в полной мере с 1980-х годов данная парадигма стала подвергаться усиленной критике. Критика опиралась на утверждения о деструктурировании классового общества, растворении социальной среды, а также на утверждения об индивидуализации и плюрализации жизненных стилей. Ссылки на неизмеримо возросшую сложность социальной жизни привели в контексте такой критики к утверждениям о банкротстве социологии.

Можно указать следующие «места разлома» классической парадигмы структурированного социального неравенства: во-первых, изменение культурного дискурса и исчерпание утопических энергий; во-вторых, историко-эмпирические изменения, результатом которых стала «индивидуализация и плюрализация стилей жизни»; в-третьих, драматические изменения в значении социального неравенства; в-четвертых, обнаружение так называемых «новых» форм социального неравенства.

* В реферате опущено подробное рассмотрение теорий Блау, Гидденса и Бурдьё, поскольку оно мотивировано, главным образом, желанием ознакомить с ними немецкого читателя. (В случае необходимости к ним можно обратиться непосредственно). В реферате представлена, главным образом, собственная концепция автора.

Изменение культурного дискурса с начала 1980-х годов связано с обсуждением «проекта модерна». Модерн в экономическом, политическом и культурном отношении опирается на институты демократии, социального рыночного хозяйства и обеспечиваемого этим хозяйством благосостояния общества. Во всех этих институтах можно указать на процессы, оказавшие значительное влияние на современный культурный дискурс. В экономической сфере массовая безработица нанесла ощутимый удар по мечте о постоянном процветании. В политической сфере наблюдается «расколдование» государства всеобщего благоденствия вследствие некоторых его неудач. В культурном плане проект социального государства не способствует инновациям и критической рефлексии.

«Индивидуализация и плюрализация жизненных стилей» – вторая рубрика, в рамках которой обсуждается растворение классической констелляции структурированного социального неравенства. Беспрецедентный рост уровня жизни, распространение массового образования и создание государства всеобщего благоденствия оказали значительное влияние на систему социального неравенства в послевоенную эпоху.

«Изменение значения социального неравенства» тематизируется в основном в соответствии со взглядами Ульриха Бека на «индивидуализацию», несмотря на то, что Мюллер обвиняет Бека в отсутствии концептуального анализа. Бек предлагает описание «общества несамостоятельных» и «послеклассового общества». Такое общество, каким его описывает Бек, являет четыре характеристики. Во-первых, социальное неравенство – это статически констатируемые неравномерности в распределении, а не различия в жизненных мирах людей. Во-вторых, в этом обществе социальная мобильность утрачивает свою привлекательность. Это происходит как в силу усиления непосредственного характера отношений между индивидом и обществом, так и вследствие индивидуализации социального риска, которая ведет к тому, что индивид в своих неудачах винит себя, а не общество. В-третьих, политические коалиции формируются только в связи с конкретными обстоятельствами и поводами, а не по каким-то другим структурно устойчивым признакам. В-четвертых, вновь приобретает определенное значение установление неравенства на основе аскриптивных признаков. Все указанные признаки современного состояния общества призваны подтвердить, в подходе Бека, исходный тезис о плюрализации и индивидуализации жизненных стилей.

«Новые» формы социального неравенства – это виды критики «парадигмы структурированного социального неравенства», ссылающиеся на те формы социального неравенства, которые либо не существовали прежде, либо не замечались социологами, экономистами и т.д.

Так называемая «теорема горизонтальных диспаритетов» указывает на существование региональных различий и различий в социальном обеспечении, которые нельзя объяснить с помощью модели иерархического расположения социальных классов. Далее, исследования положения женщин и гастербайтеров свидетельствуют о наличии «аскриптивных форм» неравенства, связанных с дискриминацией по половому и этническому признаку. Многие новые формы социального неравенства связаны со спецификой современной ситуации на рынках труда и характера рекрутирования рабочей силы. Указанные формы социального неравенства так или иначе соотносятся с национальным государством. Наряду с этими существуют формы, обусловленные «международной системой социального неравенства», которые были выявлены, прежде всего, с помощью «анализа мировой системы» (Уоллерстайн).

Общим для всех указанных новых форм социального неравенства является то обстоятельство, что они не вписываются в рамки теоретического анализа, опирающегося на исследования классов и слов, прежде всего не вписываются в рамки изучения статуса и мобильности, осуществляемого американской социологией. Данное обстоятельство наглядно подтверждает теоретическую недостаточность классической парадигмы.

Ввиду теоретической недостаточности или даже теоретической несостоятельности в нынешних условиях классической парадигмы структурированного социального неравенства

предлагаются новые исследовательские стратегии изучения социального неравенства, в том числе и такие, которые стремятся соотнестись каким-то образом с проблематикой жизненных стилей.

В общем спектре возможных исследовательских стратегий можно выделить два крайних полюса. В соответствии с *радикальной* стратегией парадигма структурированного социального неравенства, делающая упор на анализ классов, расслоения и мобильности, должна быть напрямую переведена в феноменологию, т.е. в описание социального неравенства.

Приверженцы *умеренной* сохраняют содержательное ядро старой парадигмы, однако предпринимают значительные усилия с целью переформулировать теорию социального в свете новых явлений в самой социальной жизни, а также в социальной теории.

Позиция самого Ганса-Петера Мюллера состоит не в том, чтобы вообще отказаться от социально-структурного анализа социального неравенства, а в том, чтобы дополнить и усовершенствовать такой анализ с помощью анализа жизненных стилей. Осуществленные и осуществляемые в рамках привычного социально-структурного анализа исследования, в том числе статистические, форм неравного распределения социальных благ, дохода, собственности, образования, власти, престижа, жилья, свободного времени и т.д.) должны конкретизироваться через рассмотрение жизненных стилей.

Свою точку зрения он обосновывает с помощью указаний на несомненные теоретические достоинства, которыми, по его мнению, обладает социологический анализ жизненных стилей. Такой анализ позволяет увязывать макро- и микроуровень социальной жизни; позволяет сочетать структурные и процессуальные аспекты; дает возможность избегать как «структурализма», так и «экономизма», поскольку в состоянии переходить от социально-структурной позиции или социально-экономического положения индивида непосредственно к его конкретному специфическому поведению; создает условия для отслеживания изменений в системе социального расслоения, а также в устройстве домашней и семейной жизни индивида.

Социологический анализ жизненных стилей устанавливает связи, сходства и подобия между «классовым пространством» и жизненными стилями, увязывает в определенное единое целое труд, творчество с досугом и потреблением.

Вместе с тем рассмотрение жизненных стилей дает возможность рассматривать одновременно различия по вертикали и различия по горизонтали, различия в статусе и субкультурные различия.

Комплексное и динамичное понятие жизненного стиля применимо как к привычным, так и к альтернативным жизненным стилям, оно в состоянии показать механизмы выбора, осуществляемого индивидами, исходя из их социально-структурной позиции и менталитета.

Наконец, подход, опирающийся на понятие жизненного стиля, открывает возможность избегать двух крайностей в интерпретации общества: тезиса о продолжающемся существовании классового общества, с одной стороны, и тезиса об индивидуализированном обществе – с другой.

Жизненные стили можно определить как структурированные в пространстве и времени образцы «ведения своей собственной жизни». Такие образцы зависят от наличествующих у индивида материальных и культурных ресурсов, от формы семьи и характера устройства домашней и семейной жизни, а также от ценностных установок.

Ресурсы задают жизненные шансы, определяют возможности выбора. Форма семьи и характер устройства дома указывают на единство образа жизни, жилища и потребления. Ценностные установки определяют жизненные цели, формируют менталитет.

Стиль жизни включает экономический и культурный полюсы, которые можно обозначить также как материальный и идеальный субстрат, соответственно. Материальный субстрат – это социальное происхождение и профессия, а также доход и имущественные возможности индивида или группы. Идеальный субстрат является результирующей социального происхождения и семьи, которые формируют потребности и менталитет.

Материальный и идеальный субстраты можно квалифицировать как «конститутивный дуализм», присущий теоретическому понятию жизненного стиля. Если не учитывается тот или иной компонент такого дуализма, соответственно, не учитывается тот или иной из указанных субстратов, то понятие жизненного стиля страдает неправомерной односторонностью. Примерами могут служить понятие жизненного стиля у П.Бурдьё.

Материальный и идеальный субстраты как полюсы понятия жизненного стиля образуют структурную рамку для четырех основных измерений, в которых проявляются жизненные стили.

Первое измерение – «экспрессивное поведение», находящее выражение в формах досуговой активности и в образцах потребления.

Второе измерение – «интерактивное поведение», которое находит непосредственное выражение в формах общения и поведения в браке, а опосредованное выражение – в способах отношения к средствам массовой информации.

Третье измерение – «ценностное поведение», связанное с различными ценностными ориентациями и установками. Такое поведение проявляется в религиозной сфере в приверженности той или иной церкви, а в политической сфере – в первую очередь в определенном электоральном поведении. Поведение на выборах как проявление жизненного стиля лишь в последнее время привлекло к себе внимание.

Четвертое измерение – «когнитивное поведение», под которым имеется в виду, прежде всего, самоидентификация и восприятие социального мира. Это измерение труднее всего постичь.

Экспрессивное, интерактивное, ценностное и когнитивное поведение, воспринимаемые как главные измерения жизненного стиля, открывают возможность социологической разработки типологии жизненных стилей.

Мюллер завершает свою работу указанием на то, что вопрос о мере классового структурирования и о степени индивидуализации общества остается открытым в общем теоретическом плане. Такой вопрос целесообразно ставить в эмпирическом плане, поскольку получить ответ на него можно эмпирическим путем.

Вместе с тем необходимо продолжать работу, направленную на совершенствование теоретического подхода, в основе которого лежит понятие жизненного стиля. В таком случае понятие жизненного стиля предстанет как базисное понятие, сопоставимое с понятиями класса и слоя. А сочетание понятий жизненных шансов и жизненного стиля позволяет выдвинуть на передний план центральную проблему классической социологии – проблему «ведения жизни».

Ю.А.Кимелев

РЕЦЕНЗИИ

Филиппов А.Ф.

Теория систем. Аутопойесис продолжается 2.

Jenö Bango. Theorie der Sozioregion. Einführung durch systematische Beobachtungen in vier Welten. Berlin: Logos, 2003. 291 S.

Енё Банго. Теория социорегиона: Введение посредством систематических наблюдений в четырех мирах. Берлин, 2003. 291 С.

Енё Банго – немецкий профессор венгерского происхождения, в годы своей профессиональной карьеры занимался преимущественно проблематикой социальной работы. В последнее время он публикует сочинения, по теории аутопойетических систем, организует международные конференции, посвященные концепции аутопойесиса и ее перспективам. Банго одним из первых обнаружил, что внятн заявленная Никласом Луманом (и смягченная лишь в последние годы его жизни) позиция, согласно которой пространство, в отличие от времени, не имеет решающего значения для социологической теории, не просто является ошибочной, но может быть преодолена при помощи ресурсов теории систем самого Лумана. В 1998 г. он выпустил книгу «На пути к постглобальному обществу: потерянный центр, разрушенная периферия, "изобретенный" регион»¹. В этой работе автор попытался обосновать новый подход ко многим важным проблемам социологии и, в частности, «отнять у понятия центра иерархическую четкость, а у понятия региона – территориальную ограниченность и наполнить это последнее "социальным" содержанием. В современной социологии можно найти достаточно доказательств, подтверждающих мои усилия в том, что касается первой части этой задачи, но гораздо меньше – в том, что касается второй. Понятие региона еще слишком глубоко связано с представлением о пространстве, с геополитической локализацией»². Завершая свое исследование, Банго писал: «Регионализация социального означает синтез локального и глобального, а это – программа новой социальной системы, системы социорегиона. Чтобы осуществить эту программу, мы пытались найти конечные элементы социального (части и посредники между ними). Роль осциллирующего посредника между жизненным миром и системой, между центром и периферией, между глобальным и локальным с "протофункциями" разделения и опосредования делает систему социорегиона автономной функциональной системой. Я радикально отождествил социальное с региональным, то есть свел комплексность системы социального к самому малому общему знаменателю³».

Уже эти высказывания ясно свидетельствуют о том, что мы имеем дело с весьма своеобразным мыслителем, замысел которого отнюдь не сводится к «расширению» или «дополнению» теорий Лумана. В новой книге Банго это становится совершенно очевидно, поскольку она написана хотя и сжато, но более систематично, чем его предыдущий труд. Книга состоит из пяти глав. В первой главе автор рисует нам «мир, в котором мы живем», как мир «проблем и катастроф». Банго обозначает три круга проблем и три круга катастроф. К проблемам относятся проблемы окружающей среды, водных ресурсов и энергии. К катастрофам – природные, климатические и технологические катастрофы. Несмотря на несколько непривычное для нас деление, в общем, ясно, почему он выделяет проблемы воды

¹ См. Bango J. Auf dem Weg zur postglobalen Gesellschaft: Verlorenes Zentrum, abgebaute Peripherie, "erfundene" Region. Berlin: Duncker & Humblot, 1998.

² Ibid. S. 277.

³ Ibid. S. 309.

из числа экологических проблем, а климатические катастрофы – из числа природных катастроф. Пожалуй, словоупотребление могло бы быть более точным, но желание развести, например, землетрясения и погодные явления сомнений не вызывает.

Вторая глава книги называется «Мир, который мы (ис)пользуем: недостаток и избыток». Здесь рассматриваются следующие области: экономика (кризисы и капитализм), здоровье (жизнь без болезней), права человека (суверенитет и справедливость), война и мир, устойчивое развитие и бедность, самоопределение молодежи в современном мире. В третьей главе книги называется «Мир, который мы конструируем: надежды и шансы» речь идет о демографии, языках, религии, культурах, искусстве, науке.

Таким образом, в первых трех главах, которые занимают по объему более половины книги, автор не оставляет без внимания, кажется, ни одну важную тенденцию, ни одну проблемную область современной социальной жизни. Это может рассматриваться как преимущество, но имеет, конечно, и свои издержки. Посмотрим, например, как трактуется автором недостаток и избыток применительно к сфере экономики (по-немецки до сих пор предпочитают говорить «хозяйство»). Социология хозяйства, по мнению Банго, должна вернуть хозяйство в лоно общества, исследовать его во всех социальных взаимосвязях. Отрывать хозяйство от общества – все равно что говорить об исследовании женщин и людей вместо исследования женщин и мужчин. Мы исследуем эту тему, продолжает автор, имея в виду как теорию систем, так и проблему регионализации. Банго обращается к концепции Ф.А.ф.Хайека и его трактовке ущербности социализма по сравнению с частнокапиталистическим хозяйством. Он указывает, что попытки полностью изъять хозяйственные отношения из социально-политической взаимосвязи является неоправданным. Так, например, если посмотреть на деятельность «большой восьмерки», то окажется, что лишь декларативным образом она составлена из стран с наибольшим валовым национальным продуктом. На самом деле при отборе этих самоназначенных лидеров мировой экономики не последнюю роль играли чисто политические соображения. Теперь же, что хорошо видно в ситуации с долгами слаборазвитых стран, ни чисто рыночный подход, ни однократные политические решения не дают выхода из проблемной ситуации. «Рыночные отношения не заменяют социальные отношения. Проблема состоит не в капитализме как таковом, но в представлении о том, что сам по себе капитализм способен удовлетворить все человеческие потребности и предложить решение всех проблем» (S. 64). Благородные принципы автора несомненны. Он демонстрирует также изрядную начитанность и способность ориентироваться в актуальных проблемах и тенденциях. Тем не менее, несколько деклараций, основанных на буквально «точечных», сжатых до *nec plus ultra* рассуждений, не могут заменить развернутого теоретического высказывания.

Другой пример – это рассуждения автора о языках. Мы узнаем, что, с точки зрения Лумана, язык не является системой, однако позволяет «рыхлое сочленение» систем сознания и систем коммуникации. Языки являются носителями культурной традиции, мировоззрения, установок по отношению к миру и т.д. Родной язык дает человеку шанс на понимание. За возможность говорить на родном языке ведутся войны, а попытки создать язык всемирного общения известны с давних времен. Банго вкратце останавливается на генеративной трансформационной грамматике Хомского, на психолингвистике, нейролингвистике, этнолингвистике, теории речевых актов. Он указывает (приводя соответствующие примеры), что многоязычность, отличающая, в частности, некоторые европейские страны, есть путь к терпимости и мирному сосуществованию. Далее он рассматривает становление английского как мирового языка, языка электронных коммуникаций и международного общения. Русский потерпел неудачу, потому что рассматривался в странах социалистического лагеря как язык угнетения. При этом итальянский, например, характеризуется как «язык музыки», а ряд современных языков оказываются языками «бедности и нищеты». Вывод автора в параграфе о языках такой: «Можно вообразить регионализированный постглобальный мир, в котором сохраняется английский язык как мировой язык глобального взаимопонимания и коммуникации, но он не подавляет региональные языки» (142). Вообразить это можно,

конечно, но стоил ли этот вывод таких усилий? И каков, собственно, характер этих усилий? Кажется и здесь, и в других случаях, мы имеем дело с весьма специфическим способом представления предмета: актуальным, беглым, сопровождающимся отсылками на большой объем релевантной литературы, включая и такую, которая, по идее, должна входить в состав базового образования по соответствующим специальностям – от Хайека и Кейнса для экономистов до Хомского для лингвистов. Но можем ли мы быть уверены, что одни и те же люди читают Хомского и Кейнса? И если нет, то достаточно ли им столь сжатых отсылок? А если да, то именно такой способ представления оказывается не совсем удачной комбинацией «скудости и избытка», независимо от того, о чем говорит автор, будь то проблема водных ресурсов или относительная автономия роботов в «обществе, основанном на знании».

В четвертой главе книги «Мир будущего – глобальный или социорегиональный?» начинается изложение в собственном смысле слова того, что Банго называет «теорией социорегиона». Автор рассматривает ряд концепций глобализации, уделяя большое внимание лумановскому понятию «мирового общества». «Если привести к общему знаменателю, то "глобализация" означает, что все происходящее где-либо в мире оказывает воздействие на происходящее в любом другом месте мира. ... В мировом обществе глобальные события находятся всегда в локальном контексте, они всегда изучаются в применительно к "здесь" и "сейчас". ... Теория социорегиона настаивает ... не на симбиозе, но на синтезе глобального и локального. ... В своей теории социорегиона я пытаюсь выйти за пределы национально-государственной, глобальной и относящейся к гражданскому обществу фаз социальной эволюции. ... Я постулирую, что мышление постмодерна есть одновременно постглобальное мышление, а социорегион будет постмодерновым и постглобальным конструктом» (S.185, 188, 189). Развивая эту мысль, Банго пишет о том, что «региональное членение Земли имеет наилучшие шансы для того, чтобы ухватить и, соответственно, редуцировать глобальную комплексность. Но это должно быть не столько прочным, жестким маркированием, сколько, в качестве процесса регионализации, нацеливаться на постоянно меняющуюся региональность» (S.196). Что же такое регион? Дает ли на этот вопрос ответ теория систем Лумана?

Конечно, в разных работах Лумана, особенно в последний период его творчества, понятие региона всплывает нередко. Однако оно не обладает достаточной степенью разработанности. Тем, кто пытается исследовать региональную проблематику сейчас, приходится так или иначе определять свое отношение к проблеме пространства и территории помимо собственных положений Лумана. Дело не просто в том, что пространство должно быть концептуализировано, прежде чем речь пойдет о его отдельных «фрагментах». Дело еще и в том, что социологическая концепция и социологическое исследование регионов не обязательно должны быть привязаны к концептуализации пространства. С точки зрения социальной науки, говорит Банго, это понятие намного более проблематично. Он вычленяет здесь два подхода. Прежде всего, свой собственный, обоснованный в предыдущих публикациях. Согласно этому подходу, регион – это социальная система, выделяющаяся в ходе дифференциации более обширных систем. Другая точка зрения, представленная Клаусом Кумом⁴, состоит в том, что регион – это ближайший окружающий мир подсистем общества, та среда, в которой функционируют его системы. Раскрывая свою точку зрения более полно, Банго указывает на то, что регион представляет собой не просто топографически очерченное место в пространстве, но именно особый тип социальной системы. Как известно, Луман выделял три таких типа систем: интеракцию, организацию и общество. Банго утверждает, что регион подобен политике, праву, хозяйству как особая функциональная система, что, кстати говоря, делает несколько сомнительным его предыдущее утверждение. Ведь право, политика, хозяйство, а также религия, наука, воспитание – это, по Луману, функциональные системы *общества*. Иначе говоря, либо регион представляет собой один из типов систем, либо это функциональная система

⁴ См. напр.: Kuhn K. Raum als Medium gesellschaftlicher Kommunikation // Soziale Welt. 2000. Hft. 6. S. 321-348.

общества, либо, наконец, нам должна быть предложена более обширная аргументация, позволяющая соединить и то, и другое, то есть аргументация, касающаяся уже не характеристик региона, а характеристик и принципов анализа общества. Подходы к этому у Банго можно найти. Он говорит о собственном бинарном коде региона: "разделять/содержать» (по аналогии с «правовым/неправовым», «истинным/ложным» и т.д.), он усматривает здесь характеристики «протосоциальности» и обобщенное средство коммуникации - «отношение» (Beziehung). Банго справедливо указывает, что это позволяет выйти за рамки территориальности как таковой. Наконец, он говорит и о том, что можно посмотреть на дело с другой стороны, а именно, исходя из различий центра и периферии, поскольку регион представляет собой не только синтез локального и глобального, но и центра и периферии. В пятой главе автор указывает на то, что в конструкции Лумана имеются существенные пробелы, например, нет понятия группы (см.: S. 244). Он также специально оговаривает, что социорегион – это и базовая система, и функциональная подсистема общества (см.: S. 245)

Излагая точку зрения Кума, Банго обращает внимание на то, что и этот автор не считает регионы «вещами», особыми объектами. Для него они суть также и не системы, но окружающий мир систем, который находится внутри, а не вне общества. Однако Банго не согласен с тем, что регионы – это не системы. Если можно указать на особую функцию, если можно говорить об особом роде операциях системы, то можно говорить и о системности. Такой основополагающей операцией региона является «протосоциальное разделение и опосредствование. Предпосылкой любого образования систем является кондиционирование. В системе социорегиона таково селективное сопряжение элементов. Только "социальное" – не хозяйственное, не религиозное и т.д. – разделение солидарностей, отношений кондиционирует регион, превращая его в функциональную систему» (S. 206). Такого рода рассуждения непосредственно не вытекают из концепции Лумана, но служат ее развитию, полагает автор.

К сожалению, и это развитие, как и все дальнейшее изложение имеет тот же характер, что и предшествующие главы. Нам оно представляется чрезмерно сжатым, что крайне затрудняет воспроизведение мысли автора: сами по себе высказанные им положения могут казаться нам не просто правильными, но достаточно глубокими для подробного обсуждения. Однако в книге они представлены в контексте очень короткого, чаще всего не более десятка страниц рассуждения, в ходе которого отсылки к точкам зрения других авторов всплывают одно за другим. По отношению к высказанным кем-то мнениям и определяется – в нескольких абзацах – позиция автора, которая вне этого контекста кажется либо непонятной, либо недостаточно обоснованной, а сам контекст, несмотря на сжатость изложения, всякий раз слишком обширен и многообразен.

В последней, пятой главе Банго старается объяснить особенности своего теоретизирования. Он говорит о науке постмодерна и «трансмодерна» (последнее является совсем еще свежим неологизмом с сомнительным будущим). Наука постмодерна есть наука о многообразии, предпочитает единству различие, слову «модерн» сообщает разные прилагательные (рефлексивный, второй, третий, поздний). Наука трансмодерна говорит о модерне во множественном числе, это наука о многообразии и т.д. Это трансдисциплинарная наука, что означает не просто междисциплинарность, то есть взаимное наблюдение, соприкосновение, обучение, но далеко идущее взаимопроникновение дисциплин, которое может привести к появлению нового рода знания. Нетрудно предвидеть, что все эти характеристики укладываются в несколько страниц.

Здесь же автор стремится дать более внятное определение понятию «социорегион», указывая на то, что этот неологизм предполагает отсылку как к социологии, так и к социальному. Он рассматривает следующие аспекты теории: социорегион и проблема пространства, коммуникация и действие, преимущественно городская локализация социорегиона и ряд других. Каждой из них посвящена страничка-полторы-две.

Поскольку на этом книга завершается, мы можем подвести некоторые итоги. По нашему мнению, работа получилась не очень удачной. Возможно, именно таким и должно быть знание постмодерна или трансмодерна или еще чего-нибудь в этом роде. Остроумные суждения, быстрые переходы от темы к теме, пожелания и формулы долженствования вместо развертывания идеи и т.п. Но очевидно, что это сильно отличается по духу от концепции Лумана. Именно здесь становится очевидно, что Луман был не только и, может быть, не столько началом, сколько завершением: завершением той длительной традиции «древнеевропейского», как он издевательски его называл, мышления, которое в приложении к социологии дало сначала «классику», а затем и «mainstream». Луман владел способностью стягивать огромные ресурсы знания в концепцию, обладавшую двумя, казалось бы, несовместимыми свойствами: высокой степенью внутренней консистентности, единства в самом традиционном смысле слова, и ресурсоемкостью в сочетании с потенциальными саморазвития и инспирирующего влияния. Архитектура его теоретической системы обладала большой устойчивостью, но она беззащитна против благодушия – теоретического благодушия, позволяющего просто предположить «а почему бы нам не...» – не добавить, не убавить, не изменить, не переименовать и т.д. На самом деле такое благодушие – великая вещь. Без ненужных напряжений оно позволяет, не робея перед авторитетом, не сковывая себя «верностью наследию» идти дальше, руководствуясь соображениями научной продуктивности. Но оно же приводит к вещам не менее опасным, чем научная ригидность: к утрате тех критериев, без которых наука перестает быть особым, не похожим ни на какие иные, родом знания. Книга Банго находится у этой опасной черты.

ОБЗОРЫ

Кравченко С.А. *

РОССИЙСКИЕ СОЦИОЛОГИ В МУРСИИ: к итогам 6 Конференции Европейской социологической ассоциации

В сентябре 2003 года в Мурсии (Испания) состоялась 6 Конференция Европейской социологической ассоциации. Она проходила под девизом «Стареющие общества, новая социология». Его суть так выразила Я. Сойсал, Президент исполкома Европейской социологической ассоциации: «Перемены нашего времени по своему величию подобны тем, которые случились в период возникновения социологической классики. Смогут ли наши концепции и организационные метафоры трансформировать себя и стать основой новой социологии для осмысления «стареющих» обществ Европы и мира?

Идеологии, ценности, иерархии, границы, стили жизни и институты Европы, равно как и её народы, столкнулись лицом к лицу со значительной дезинтеграцией и обновлением. Что представляют собой возникающие в эру перемен социальные регуляторы, конфигурации, конфликты и расколы? Каковы наши социологические константы, категории и вехи, позволяющие вскрыть внутренние движения общества?»¹

В своем докладе Я. Сойсал призвала участников форума переосмыслить многие ныне существующие социологические положения и стереотипы с учетом нарождающихся новых европейских реалий XXI века, которые будут значительно отличаться от нынешних «стареющих» обществ. Это означает, что уже нынешнее столетие ознаменует собой «старение» и «конец» Европы в том виде, к которому мы привыкли и с которым многим из нас трудно расставаться. Соответственно, нужен новый мир социального знания, новая социология, которая в условиях отсутствия строгих данностей смогла бы, тем не менее, прояснить общую картину перемен, выявить потенциал хаоса, диффузных процессов, а также возможные альтернативы развития.

Что же конкретно свидетельствует о «старении» существующих обществ? Об этом было немало сказано. Отмечу три момента, которые мне показались наиболее существенными. Во-первых, возникает невиданная ранее *открытость* европейского социума. Суверенитет конкретного государства ставится под вопрос ввиду того, что акторы из других стран начинают оказывать существенное воздействие на характер принятия судьбоносных политических и экономических решений. Легитимность государства в общественном сознании европейцев подрывается. Миграция населения такова, что все труднее определить «своих» и «чужих» жителей. Сохранить «чистоту» национальной культуры становится невозможным, а процессы глобализации неизбежно ведут к культурным травмам.

Во-вторых, *масштабы эмерджентных эффектов* от деятельности акторов постоянно увеличиваются. В итоге социальные системы все больше и больше утрачивают стабильность, отклоняются от равновесия. При этом постоянно идет борьба за утверждение новых ценностей, стилей жизни, за создание лучшего, более гуманного общества. Пока нет никаких оснований утверждать, станут ли нарождающиеся социокультурные реалии более гуманными или нет. Однако очевиден рост неопределенностей и рисков, многие из которых вызваны тем, что отдельные структуры существующих обществ развиваются разными темпами, вследствие чего утрачиваются связи между ними. Растет и показатель

*Кравченко Сергей Александрович, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой социологии МГИМО (У) МИД РФ

¹ Programme of Sessions. – The 6th Conference of the European Sociological Association. Ageing Societies, New Sociology. – Murcia (Spain), 23-26 September, 2003. – P. 7

© Центр фундаментальной социологии, 2003

© Кравченко С.А., 2003

нелинейности развития, что позволяет прогнозировать переход нынешних «стареющих» обществ в иное состояние с образованием принципиально новых структур.

В-третьих, *деятельность человека входит в противоречие с функционированием природы*. Идеал коэволюции человечества и природы, скорее всего, утопичен: практическая интеграция общества и природы как живой системы оказалась вообще проблематичной, ибо в первом случае мы имеем дело с открытой системой, а во втором – с закрытой. Соответственно, эти системы развиваются по разным законам. Конфликт между ними усугубляется хаосом норм, их плюрализацией и как следствие – отсутствием эффективных механизмов, регулирующих эти взаимоотношения. В связи с этим возрастает роль и ответственность европейцев за выбор наиболее оптимальной альтернативы развития, сохраняющей гуманистический характер ценностных предпочтений, а новая социология призвана этому содействовать.

Новая социология предполагает и создание новых общих теорий. В ряде выступлений организаторов форума прозвучало сожаление, что современная социология в своем распоряжении имеет мало валидных общих теорий, что исследования ряда ученых страдают мелкотемьем.

Насколько удалось разрешить эти проблемы участникам конгресса? Какой конкретно вклад в это дело внесли российские социологи?

Прежде всего, немного количественных данных, представляющих общую картину форума. В опубликованной Оргкомитетом «Программе» всего заявлено 2142 выступления, из которых 100 подготовлены российскими социологами, что составляет 4,7%. Повседневная работа форума проходила в 25 исследовательских комитетах (фактически в 24, так как 17-ый комитет отсутствовал) и в 15 панелях. Так же была организована небольшая студенческая программа, в которой российские студенты участия не принимали. Замечу, что некоторые страны бывшего «социалистического лагеря», включая Эстонию, все же изыскали возможности, чтобы их студенты-социологи приняли участие в Конференции. В работе исследовательских комитетов значатся 1765 выступлений, из них наших – 90 или 5,1%, а в панелях – 377, из них наших – 10 или 2,6%. По этим цифрам читатель сам может сделать вывод о степени участия российских социологов в Конференции в сравнении с социологами из других европейских стран.

Организаторы форума также опубликовали «Книгу абстрактов», содержащую 920 резюме, из которых 38 или 4,1% подготовлены российскими социологами. Соответственно, 743 резюме докладов были представлены в исследовательских комитетах, авторами 31-го из них или 4,2% являются российские социологи, а 177 резюме сообщений – в панелях, из которых 7 – подготовлены российскими учеными, что составляет 3,9%². А по этим данным читатель может судить, насколько доступен установленный Оргкомитетом регистрационный взнос не только для российских, но и для европейских социологов: 180 евро при заблаговременной оплате, что являлось условием публикации резюме, и 250 евро, для тех, кто платил по прибытии на месте (и это ещё со скидкой для представителей из России!). Полагаю, высокий оргвзнос был главным фактором того, что абстракты более половины участников (1222), включенных в Программу, так и не были опубликованы.

Российские социологи этот информационный пробел пытались отчасти минимизировать. Специально к 6 Конференции были подготовлены три публикации на английском языке. В частности, Российским обществом социологов было выпущено два одноименных сборника: «Российские социологи о российском обществе». Общая редакция В.А. Мансурова³, в которых содержалось 76 и 12 материалов в алфавитном порядке их авторов, что, на мой взгляд, у зарубежного читателя вызывает естественные трудности поиска публикаций интересующей проблематики. Некоторые из них повторяют тематику резюме сообщений, опубликованных в «Книге абстрактов» Конференции, о которых пойдет

² Рассчитано по: Book of the Abstracts. – The 6th Conference of the European Sociological Association. Ageing Societies, New Sociology. – Murcia (Spain), 23-26 September, 2003.

³ См.: Russian Sociology About Russian Society / Ed. by V.A. Masnsurov. – M., 2003.

речь ниже. Здесь же отметим некоторые, на наш взгляд, наиболее интересные материалы, которые по тем или иным причинам, к сожалению, не попали в официальные документы настоящего форума. Однако заинтересованный зарубежный участник Конференции мог с ними ознакомиться: *А. Гофман*. «От какого наследства мы не отказываемся? Традиции и новации в постсоветской России»; *С. Новикова*. «Вклад правоведов в развитие академической социологии в России»; *В. Болгов*. «Социология новых жизненных форм как направление в современной социологии»; *Т. Гурко, А. Карпушина* «Формирование семьи в России»; *Т. Козлова*. «Отношение коренных москвичей к приезжим»; *И. Тюрина* «Гендерные характеристики социо-профессиональной мобильности служащих в современной России».

Третий сборник – «Европейская социальная теория: источники и вызовы». Под редакцией чл.-корр. РАН В.И. Жукова и В.П. Култыгина⁴, – по существу, представляли 21-ый исследовательский комитет Европейской социологической ассоциации «Социальная теория» и исследовательский комитет Российского общества социологов «История и теория социологии». Поэтому авторами данного сборника (который хорошо тематически структурирован) являются известные социологи, как России, так и Европы. Особо отмечу материалы российских авторов, привлечших к себе внимание: *Г. Осипов* «Россия в меняющемся мире»; *В. Жуков* «Сравнительный анализ современных социологических теорий: методологические аспекты»; *В. Култыгин* «Европа и востребованность социологического знания»; *Б. Сулаков* «Особенности моделирования социальных систем»; *С. Курдина* «Новая российская институциональная теории о России в глобальном мире».

Естественно, что основная работа Конференции проходила в исследовательских комитетах. Здесь в основном шла творческая полемика в поисках ответов на вызовы, с которыми столкнулись европейские общества. Попытаемся проанализировать её. При этом учтем не только то, что говорилось на сессиях и было опубликовано в официальных материалах Конференции, но и примем во внимание отмеченные выше работы российских социологов, распространявшиеся на форуме.

Итак, первый комитет – «Старение в Европе» – оказался одним из наиболее многочисленных. В Программе было заявлено 213(2) выступлений, опубликовано 98(2) резюме докладов,⁵ что свидетельствует об особом интересе европейских социологов к данной проблематике; для нас же она либо практически не актуальна либо российские ученые еще пока не располагают данными последней переписи населения России и, соответственно, не готовы выступать с достаточно обоснованными сообщениями. Квинэссенция докладов европейских социологов-демографов подтверждает общую нелинейную тенденцию развития европейских стран: разные возрастные категории начинают развиваться разными темпами, что ведет к смене прежних социальных связей, новым разбеганиям – сближениям, к увеличению общей доли хаоса между поколениями. При этом какие-то социальные конфликты затухают, во всяком случае, снижается их интенсивность, но их место занимают новые большие и малые социальные возмущения, чья интенсивность, напротив, возрастает. Среди конкретных проблем старения населения, явившихся предметом социологического анализа, отметим следующие: дискриминация престарелых, старение рабочей силы, социальная зависимость и социальная сегрегация стариков, кризис государственных и частных фондов, оказывающих социальную поддержку старикам, социальные различия между стариками, проживающими в городе и деревне, любовь и браки среди стариков, нарушение семейной солидарности, проблемы постепенного перехода на пенсию и возможности участия стариков в общественной жизни. Многие сообщения были сделаны на основе феминистского подхода к проблемам старения вообще и старения женщин в особенности. Доклады российских социологов *А.В. Носковой* «О влиянии эффекта социальных изменений на статус людей старших возрастов в России» и *Л.А. Беляевой* «Социальное положение возрастных групп во время российских реформ», представляется, вполне вписывается в общую атмосферу данного исследовательского комитета.

⁴ См.: European Social Theory: Sources and Challenges / Ed. by V. Kultygin and V. Zhukov. – М., 2003

⁵ Здесь и далее в скобках приводятся данные, касающиеся российских социологов.

Второй комитет – «Социология искусств». В Программе – 76 (5) заявок на выступления, опубликовано 25(1) резюме. Его участники сделали акцент на исследовании изменений в дискурсе современных искусств, влияния рынка на художественное творчество, связей современных искусств с новыми технологиями, возможностей использования количественных методов в социологии искусств. Отметим тематическую направленность ряда выступлений: создание художниками международной системы искусств; использование фрейм-анализа И. Гоффмана для исследования визуальных образов; атомизация театрального поля; производство юмора в постмодернистской культуре; коллекционирование искусств как выражение рациональности социальных акторов; социоисторический анализ прошлого через произведения культуры; проблема одиночества в поэзии. На наш взгляд заслуживают внимания следующие выступления российских социологов: *М. Горностаева* «Исполнительское искусство как выражение конфликта между визуальной цивилизацией и культурой тела» (опубликовано резюме); *С. Лебедев* «Творчество в социальном контексте: социофилософский анализ откровения».

Третий комитет – «Европейские общества через призму биографических перспектив» – значительно лучше представлен российскими социологами. В Программе заявлено 95(11) выступлений, опубликовано 43(3) резюме докладов. Ученых привлекли проблемы характера нарратива в контексте современной европейской миграции; межпоколенной трансмиссии коллективных представлений и социальных практик; формы идентичностей, характерные для поздней современности; отражения культурных травм в жизненных историях; биографии и генеалогии: границы локального в глобализирующемся мире. Примечательно, что последняя группа очень актуальных и интересных проблем была организационно оформлена в специальную сессию, представленную исключительно российскими социологами и руководимую Олегом Божковым. Среди докладов россиян: *О. Божков, И. Боголюбов* «Хронографические модели генеалогии: проблема неопределенности»; *С. Дамберг* «Ресурс кросслокальной интеграции в контексте локального сообщества»; *О. Ткач, Е. Здравомыслова* «Генеалогическое исследование культурного движения в современном российском обществе»; *И. Голофаст* «Противоречие локализации»; *Е. Мецкеркина* «Биографическое измерение тела». Среди наиболее интересных тем зарубежных участников, резюме которых были опубликованы, отметим следующие: моральные и культурные границы в представлении мигрантов; дискурсионный анализ жизненных историй российских предпринимателей; оценка современной войны через жизненные истории боснийской диаспоры; объединение Германий через призму биографического опыта; амбивалентность воззрений П. Бурдьё на жизненные истории.

Вызвал удивление своим небольшим представительством интересный по проблематике четвертый комитет – «Социология потребления». В Программе заявлено 61(1) выступлений, опубликовано 30(0) резюме. Обратили на себя внимание такие темы исследований: проблемы предсказуемости производства и потребления; модернистские и постмодернистские концепции стиля жизни; отношения разных социальных групп к генетически измененным продуктам; отражение в СМИ потребления и жизненных стилей; дилемма «наркотики – алкоголь» в потребительском обществе; власть потребительской власти; новые концепции потребления (в свете взглядов П. Бурдьё).

Пятый комитет – «Бедствие и социальный кризис». В Программе заявлено 37(4) выступлений, опубликовано 17(2) резюме. Российскими участниками была организована сессия «Личностные, локальные, культурные и этнические кризисы в постсоветской России», на которой, в частности, выступили: *Т. Корхонен* «Предотвращение и разрешение личностных и социокультурных кризисов»; *Ю. Плуснин* «Российские малые города в период кризиса: изменения в социальных отношениях среди “простых людей”»; *М. Юсупов* «Трансформация социальной структуры в условиях вооруженного конфликта». Зарубежные участники сделали акцент на исследовании трех групп проблем: международный терроризм («созидательная деструктивность», социопсихологические аспекты 11 сентября 2001 года, социальные аспекты террора и терроризма в культурном контексте, возрождение

американского экспансионизма); специфичность катастроф периода модернити (полипарадигмальный подход к катастрофам, кризис «старых» и созидание новых сообществ, коллапс «старой» социальной и профессиональной структуры); кризис современных, особенно западных типов рациональности.

В шестом комитете «Экономическая социология», согласно Программе заявлено 66(3) выступлений, опубликовано 30(2) резюме. Здесь функционировали такие сессии, как социальный капитал; экономическая социология регионов; экономическая социология гендера, работы и семьи; налогообложение и право; экономические трансформации и будущее восточноевропейского капитализма; экономическая социология современного капитализма; гражданское общество, государство и экономика. Российские социологи выступили со следующими сообщениями: *В. Радаев* «Как социальный капитал аккумулируется в экономических отношениях в условиях отсутствия доверия к институтам и бизнес акторам»; *Г. Еремичева* «Социальные практики неформальной экономики как стратегии выживания санк-петербургских семей в период трансформации»; *К. Герасимова* «Ценности денег и деньги как ценность: как деньги изменяют жизни». Отметим и наиболее интересные темы сообщений зарубежных участников: культура и экономика в глобальном мире; новые формы неравенства; изменения в индустрии роскоши; роль труда в идентификациях; новый капиталистический дух: современные связи между культурными и институциональными факторами.

Седьмой исследовательский комитет – «Природа и общество». В программе заявлено 77(4) выступлений, опубликовано 34(1) резюме. Его руководители сделали акцент на поиск новых теоретических подходов. Соответственно, здесь были образованы и работали весьма интересные сессии. Вот некоторые из них: природа-общественные отношения и новые теории социальных исследований; устойчивое развитие и локальное действие; инвайроментальный риск и доверие; экспертное знание и инвайроментальная демократия; инвайроментальное поведение в социетальном контексте; инвайроментальные убеждения, социальные движения и гражданское общество; инвайроментальная политика и коммуникация. На наш взгляд, наиболее плодотворными были следующие темы: новые взаимоотношения природы и общества; проблемы инвайроментальной демократии; противоречия между природными и социальными ценностями; социология новых биотехнологий; «мусорное общество»; инвайроментальные последствия изменений туристическом поведении мужчин и женщин; влияние ускоряющейся социальной мобильности на природу. Столь же интересной была и проблематика ряда сообщений российских социологов: *И. Сосунова* «Социальная экология в информационном обществе в эру глобализации»; *И. Ламбаева* «Инвайроментальные регуляторы в полиэтничном обществе».

В восьмом комитете «Социология образования», согласно Программе заявлено 119(8) выступлений, опубликовано 42(2) резюме. Отметим, на наш взгляд, наиболее интересные и проблемные темы зарубежных участников: кризис школы как результат ослабления социального контроля; проблемы ухода подростков из школы; новых дух капитализма и образование; растущие потоки иммигрантов и новые проблемы образования; школа для элиты или школы элиты? Российские участники подготовили для своих коллег интересные сообщения: *В. Жуков* «Социальное образование в России: социология и политика»; *К. Ощепкова* «Международное образовательное пространство в контексте глобализации».

Девятый и двадцать пятый комитеты имеют близкую тематику – «Социология семьи и интимной жизни» и «Сексуальность». Согласно Программе в них, соответственно, заявлено 100(1) выступлений, опубликовано 42(0) резюме и 47(0), опубликовано 21(0) резюме. Неужели не только в СССР, но и в России секса нет? Единственное, включенное в Программу, сообщение *Т. Гурко* на тему «Практики сексуальных отношений, материнства и брака у женщин подросткового возраста» свидетельствует, что мы, если не впереди Европы, то, во всяком случае, проблемы, с которыми столкнулись европейцы, столь же актуальны и для россиян. Отметим проблематику, которая оказалась в центре внимания участников этих

двух комитетов: влияние постмодерна на гендерные отношения в семье и на работе; проблемы насилия в семье и уменьшения семейной солидарности; религиозная этика, табу и характер интимности; деньги и любовь; глобализация сексуальных рынков; мужская проституция, проблемы её миграции в Европу; сексуальное здоровье и рискованное сексуальное поведение; социальные проблемы развития виртуального секса; гетеросексуальность в контексте фаллоцентристской культуры; особенности возрастной сексуальности в разных европейских обществах; вторичная мужская импотенция как непредвиденное последствие феминизации; проблемы изменений сексуальной идентификации.

Десятый комитет – «Гендерные отношения в сфере труда и социального государства». Согласно Программе заявлено 87(3) выступлений, опубликовано 30(0) резюме. Тематика этого комитета касалась следующих проблем: социальное государство и гендерная политика; гендерные барьеры на рынке труда; перемены в карьерных шансах; современное гендерное разделение труда; занятость и социальная стратификация; рефлексивность рабочей силы. Отметим сообщения российских участников: *З. Калугина* «Сельский рынок труда в современной России: институциональная реформа и экономические поведенческие модели»; *Н. Гончарова* «Гендерные аспекты в карьерных ожиданиях молодых женщин».

В свете достаточно амбициозных заявок, сделанных Оргкомитетом Конференции, о «старении» европейских обществ и необходимости «новой социологии», представляется весьма скромным в целом представительство одиннадцатого комитета «Глобализация», хотя участие российских социологов в его работе было весьма заметным и по количеству участников и по характеру подготовленных сообщений. В Программе было заявлено 27(4) выступлений, опубликовано 21(3) резюме. Практически все они посвящены исследованию вызовов существующей социологии и поискам нового теоретико-методологического инструментария, который мог бы более адекватно интерпретировать современные реалии. Вот лишь некоторые темы зарубежных участников: глобализация как процесс, дискурс и теория; глобализация и плюрализации модернити; переосмысление представлений о нации под влиянием глобализации; от национального к европейскому гражданскому обществу; культурные диффузии; проблемы глобального габитуса вообще в контексте макдональдизации в особенности. Отметим тематику выступлений российских участников: *В. Франчук*. «Глобализация и создание новой цивилизации»; *М. Гинзбург*. «Готовы ли россияне к универсальности мира?»; *Т. Косыева*. «Глобализация и языковые изменения в России»; *С. Кравченко*. «Играизация как глобальный процесс».

Двенадцатый комитет – «Индустриальные отношения, институты рынка и рабочей силы». В Программе было заявлено 45(1) выступлений, опубликовано 13(0) резюме. Как видно, и у европейских и у российских социологов в целом упал интерес к изучению труда, рабочих и профсоюзных движений. В основном сообщения были посвящены исследованию новаций в сфере занятости, конфликтов в производственной сфере.

Тринадцатый комитет – «Методы сравнительного исследования Европы» – собрал незначительное количество участников и вообще оказался не для нас. В Программе было заявлено 18(0) выступлений, опубликовано 9(0) резюме. Вместе с тем, представляется, его участники поднимали важные и интересные проблемы. Отметим, например, лишь две темы: потребность в кросскультурных исследовательских методах; разработка анкеты для изучения полиэтничности.

Четырнадцатый комитет – «Социология коммуникаций и СМИ». В Программе было заявлено 53(5) выступления, опубликовано 14(5) резюме. Здесь работали интересные сессии, посвященные такой проблематике как: молодежь и массовая культура; гендерная составляющая слушателей; СМИ и политика и др. Отметим некоторые выступления российских социологов: *В. Мансуров, А. Семенова* «Представление понятия “террорист” в двух российских газетах»; *Л. Семенова* «Изменения организационной культуры СМИ в целях обретения независимости»; *Е. Евдокимова*. «Информационная среда простых семей в условиях транзитивного общества»; *Т. Адамянц* «На пути к высокому уровню

коммуникативного мастерства». Среди интересных тем зарубежных сообщений отметим следующее: детство и интернет: общение на веб-сайте; рок культура; СМИ для сексуальных меньшинств в Венгрии, Нидерландах, Словении; деконструкция TV новостей.

Пятнадцатый комитет – «Социология профессий». В Программе заявлено 93(5) выступлений, опубликовано 39(2) резюме. Вынимание социологов особенно привлекли такие темы, как вызовы социологии науки, адресованные социологии профессий; роль профессиональной этики в создании общества, адекватного глобальному миру; профессиональные изменения в информационном менеджменте; профессиональные системы в контексте гендерного фактора; женщины в бизнесе. Вот некоторые сообщения российских социологов: *И. Попова* «Влияние дополнительной занятости на успешные адаптационные стратегии в различных профессиональных группах»; *В. Мансуров, О. Лукиа* «Социальное положение врачей-женщин в транзитивной России»; *Д. Шевченко* «Аксиологические аспекты развития малого бизнеса в России».

Шестнадцатый комитет – «Качественные методы». В Программе заявлено 73(3) выступления, опубликовано 39(1) резюме. При комитете работали такие сессии, как этнография; этнография и видеоанализ; этические проблемы в качественном исследовании; текстуальный анализ; качественные методы в социологии искусств; качественный контент-анализ, основанный на компьютерной технологии; дискурсивный анализ; интенсивное интервью; биография, жизненная история и устные нарративы; сочетание количественных и качественных методов. *Г. Саганенко* подготовила сообщение на тему «Различные типы текстов и дискантные возможности».

Как было отмечено выше, семнадцатый комитет на данной Конференции не функционировал.

Восемнадцатый комитет – «Социология науки и технологии». В Программе было заявлено 59(1) выступлений, опубликовано 29(0) резюме. Единственное выступление от России было подготовлено *Е. Королевой* на тему «Изменение роли науки в эпоху глобализации». Вместе с тем, на данном комитете было сделано немало весьма интересных сообщений. Среди них: технокапитализм и управление инновациями; управление информационными и коммуникативными технологиями; вызовы глобализации для национальных инновационных систем малых стран, находящихся в транзитивном периоде; риск и неопределенность в техносциентистскую эпоху; отношения к генной технологии; проблемы управления генетически измененными продуктами; политика знания для обществ знания; регуляция технологии двойного назначения в эру глобализации; социология новых технологий в стареющих обществах; различия в использовании интернета людьми разных возрастных групп; глобализация и локализация: две стороны одной медали?

Девятнадцатый комитет – «Социальные движения». В Программе было заявлено 79(3) выступлений, опубликовано 37(2) резюме. Тематика выступлений участников данного комитета очень разнообразна – от характеристики конкретных движений XX и даже XIX веков до анализа современных протестных движений. Одной из сессий – «Социальные движения и гражданское общество» – руководил *О. Яницкий*, подготовивший сообщение на тему «Рисковые солидарности: российская версия». Другие работы российских социологов: *И. Халий* «Российские социальные движения в транзитивный период»; *О. Аксенова* «Российские профсоюзы в публичной политике: их место и роль». Среди наиболее интересных тем выступлений зарубежных участников отметим следующие: политический ислам после 11 сентября; партиципатив через правосудие; мобилизация против глобализации; виртуализация социальных движений; взаимодействия между транснациональным гендером и сексуальными движениями; борьба внутри демократии: движение к глобальной солидарности?

Пожалуй, наибольшее представительство российских социологов было в двадцатом комитете – «Социология социальной политики». В Программе заявлено 39(7) выступлений, опубликовано 18(2) резюме. Среди сообщений россиян: *Ю. Калинина* «Социальное моделирование как исследовательский метод в социологии социальной работы»; *О. Уржа*

«Социальная структура современного российского общества: проблемы социальной политики»; *Л. Хахулина* «Социальное неравенство, справедливость и социальная политика в обществах, находящихся в процессе трансформации (сравнительный анализ России и Эстонии)»; *А. Сергиенко* «Экономическое поведение россиян на рынке труда»; *А. Бендрикова* «Взаимосвязь социальной политики и благотворительности в России»; *Л. Гусякова* «Социология жизни как основа формирования моделей социальной политики в современном российском обществе». Среди наиболее интересных тем зарубежных участников: социальное государство в Европе; солидарности в Европе; социальные политики и представительства людей пожилого возраста; возможность социальной безопасности в небезопасном обществе; риски бедности в социальном государстве.

Представляется, что своеобразным зеркалом любого социологического форума является работа комитета «Социальной теории» (двадцать первый комитет на данной конференции). В Программе было заявлено 55(6) выступлений, опубликовано 31(1) резюме. Сессией, посвященной исторической и современной социальной теории руководил *В. Култыгин*. Им же был сделан интересный доклад: «О периодизации предистории и истории социологии в Европе». Среди других сообщений российских участников: *В. Франчук* «Основы современной теории обществ»; *В. Немировский, С. Гришаев* «Характерные черты современного этапа развития теоретической социологии в России»; *М. Горностаева* «Власть и значение в работе Жака Лакана»; *Б. Сивирнов* «Концепция социальной перспективы»; *Т.Адамянц* «Две новые парадигмы социального знания и социальной практики». Среди наиболее интересных тем сообщений зарубежных авторов отметим следующие: причинность и социологические модели: о взаимоотношении структур и когнитивной рациональности; критический анализ некоторых онтологических черт в критическом социальном реализме; концепция социальных отношений в классической аналитической интерпретивной социологии: Вебер и Знанецкий; цивилизационный процесс и теория эволюции; теории индивидуализации через призму гендерного подхода; социальный символизм, формы и функции; социальная идентичность и групповая интенциональность; слабые и сильные непредвиденные последствия; социальная конструкция самости; от национального государства к полиэтническому образованию; дифференциация и интеграция: элементы теории социальной эволюции; социотехнические изменения и проблемы эмерджентного информационного общества.

Двадцать второй комитет – «Молодежь и поколения». В Программе было заявлено 136(12) выступлений, опубликовано 46(3) резюме. Среди сообщений российских социологов: *Е. Пронина* «Проблемы детства в современной России»; *И. Васильева* «Молодежь России: гедонизм и нигилизм как формы социальных практик»; *О. Пронина* «Ценностные ориентации молодежи России во время структурных изменений»; *О. Уржа* «Региональные аспекты профессиональной карьеры современной российской молодежи»; *О. Ноянзина*. «Защита молодежи от наркотиков как одно из важнейших направлений социальной политики в XXI веке». Зарубежных участников данного комитета волновала следующая проблематика: деконструкция молодежного насилия; подростковые правонарушения; субкультура скинхедов; школьная субкультура; рекрутирование молодежи в политику; адаптация молодежи к трудовой деятельности в условиях «стареющих» обществ; мобильность как фактор перехода во взрослую жизнь; культурные дискурсы молодежи; взаимоотношения между поколениями; проблемы молодежи в эру глобализации.

Проблемы здоровья и спорта практически не вызвали интерес у российских социологов. Двадцать третий комитет – «Медицинская социология и политика здоровья». В Программе было заявлено 94(1) выступлений, опубликовано 30(0) резюме. Двадцать четвертый комитет – «Общество и спорт». В Программе заявлено 47(0) выступлений, опубликовано 12(0) резюме. Полагаю, причина нигилизма в отношении к данной проблематике кроется в том, что мы по-прежнему делаем акцент на анализе глобальных проблем, социальных конфликтов, оставляя в стороне повседневные, «мелкие» вопросы собственно «очеловеченного», здорового образа жизни. А можно ли вообще найти гуманное

решение глобальных вызовов, если не думать о здоровье россиян, о качестве их жизни, о социальном самочувствии и здоровых и больных людей?

На конференции была организована работа 15 панелей. Дадим самое общее представление об их характере.

Первая панель – «Расширение Европы». В Программе заявлено 14(0) выступлений, опубликовано 5(0) резюме.

Вторая панель – «Работа и организация». Заявлено 80(0) выступлений, опубликовано 34(0) резюме.

Третья панель – «Социология питания». Заявлено 14(1) выступлений, опубликовано 7(0) резюме.

Четвертая панель – «Социология любви и ненависти». Заявлено 20(1) выступлений, опубликовано 16(1) резюме.

Пятая панель – «Коллективные идентификации: раса, этнос, нация». Заявлено 40(1) выступлений, опубликовано 18(1) резюме. От России: *Е. Данилова* «Трансформация национальной идентичности в постсоветской России».

Шестая панель – «Историческая социология». Заявлено 20(0) выступлений, опубликовано 14(0) резюме.

Седьмая панель – «Социология права/прав человека». Заявлено 32(0) выступлений, опубликовано 16(0) резюме.

Восьмая панель – «Социология урбанизации». Заявлено 23(1) выступлений, опубликовано 11(0) резюме.

Девятая панель – «Политическая социология». Заявлено 50(2) выступлений, опубликовано 18(0) резюме.

Десятая панель – «Культура, коллективная память и общественный дискурс». Заявлено 13(0) выступлений, опубликовано 9(0) резюме.

Одиннадцатая панель – «Европа и иммиграция». Заявлено 25(1) выступлений, опубликовано 12(1) резюме. От России: *Т. Юдина* «Трудовая миграция в Россию: реакция государства и общества».

Двенадцатая панель – «Социология религии». Заявлено 12(2) выступлений, опубликовано 8(1) резюме. От России сообщения подготовили: *Г. Сабирова* «Исламские женщины в Москве»; *С. Игнатова* «Религия как фактор адаптации в современном российском обществе».

Тринадцатая панель – «Европа и Средиземноморье». Заявлено 2(1) выступлений, опубликовано 2(1) резюме. От России: *Г. Осадчая* «Гендерная стратегия в России».

Четырнадцатая панель – «Обдумывая социологию Пьера Бурдьё: культура, образование и искусство». Заявлено 5(0) выступлений, опубликовано 3(0) резюме.

Пятнадцатая панель – «Социология детства». Заявлено 27(0) выступлений, опубликовано 13(0) резюме.

В заключение несколько самых общих впечатлений. Как мне представляется, развитие европейской социологии идет по пути увеличения разнообразных теоретико-методологических подходов к исследованию общества, которые предполагают интеграцию и широкое использование достижений других социальных и естественных наук, особенно синергетики. Именно на этом направлении осуществляется более успешное осмысление вызовов, связанных с увеличивающейся нелинейностью развития мира и Европы.

Активно идет институционализация феминистского направления в социологии. Это проявляется не только в развитии самостоятельного теоретико-методологического подхода, демонстрирующего женское видение социальных и культурных проблем современности, но и в эффективной организационной деятельности. Достаточно сказать, что новый Исполком Европейской социологической ассоциации более чем на две трети состоит из женщин-социологов.

Отрадно отметить, что на таком представительном социологическом форуме было много молодежи, в том числе и из России. Молодые социологии достаточно успешно

овладевают международным дискурсом нашей науки, что предполагает и высокий уровень знания иностранного языка, усвоение специфической социологической лексики. Будущее российской социологии немислимо без привлечения молодежи к участию в самых авторитетных международных форумах. Очевидно, нашим научным фондам следует предусмотреть выделение специальных грантов для молодых ученых с целью их участия в подобного рода мероприятиях.

Наконец, нельзя не отметить тот факт, что некоторые российские социологи, чьи работы вообще не были представлены в каких-либо публикациях, приехали ради интереса к самой социологии – знакомства с передовыми наработками ведущих европейских ученых в надежде на установление творческих научных контактов. И это тоже внушает оптимизм относительно развития социологии в России.

СТАТЬИ И ЭССЕ

*Вахштайн В.С.**

К проблеме темпоральных механизмов социальной организации пространства.

Анализ резидентальной дифференциации

Проблематизация категорий «пространства» и «времени» в социологической теории изначально предполагает некоторый план их соотнесения. Идет ли речь о противопоставлении темпорального и пространственного в анализе структуры социального действия (которое, согласно известной формуле Парсонса «не пространственно, но временно») или, напротив, об их соединении в неразрывный континуум «пространства/времени», через призму которого рассматриваются рутинизировавшиеся социальные практики (Э. Гидденс). Вариантом такого соотнесения является постановка проблемы *темпоральных механизмов социальной организации пространства*, очередная попытка ответить на вопрос «Каким образом в пространство вмещается время?». Далее мы рассмотрим эту проблему на предельно частном примере *резидентальных сообществ*. Соответственно, исходным пунктом нашего анализа является построение идеальнотипической модели социальной дифференциации, для которой пространство и время представляют фундаментальные схемы различения.

В основе резидентальной (от латинского *resident* – проживающий) дифференциации лежит разделение социальных групп по срокам проживания в стране (регионе, городе и т.д.). Здесь место человека в социальной структуре, его принадлежность той или иной резидентальной группе, определяется количеством лет, которые он сам (*первичная резидентность*) или поколения его предков (*вторичная резидентность*) прожили на территории данного сообщества. Таким образом, срок проживания выступает критерием конституирования социальных тождеств и различий, разделяя «коренных» и «пришлых», старожилов и новоприбывших, потомков первопоселенцев и потомков недавних иммигрантов – т.е., резидентные и нерезидентные группы¹.

Частный случай резидентальной дифференциации – резидентальная стратификация. Различия в сроках проживания редко бывают нейтральны; они не только конституируют социальные дистанции, но и поддерживают особую систему распределения, перераспределения и воспроизводства неравенства. (Более подробно этот вопрос рассмотрен нами в [17]).

В то же время, резидентные и нерезидентные группы отнюдь не всегда поддаются стратификационному соотнесению. Резидентальные дистанции сохраняют свою силу даже там, где группам резидентов и нерезидентов нельзя приписать отношений хуже/лучше, больше/меньше. Так, американские индейцы и израильские «харедим» (члены ультрарелигиозных общин Иерусалима, существовавших с момента его основания) – подлинные резиденты этих сообществ – оказались в изоляции (первые – в резервациях, вторые – за стенами религиозного квартала «Меа Шеарим»), продолжая настаивать на своем праве на эту землю, отказываясь признавать новую систему отношений между «коренными» и «новоприбывшими». При этом они не являются ни «низшим», ни «высшим»

* Вахштайн Виктор Семенович – аспирант ГУ-ВШЭ

© Центр Фундаментальной социологии, 2003

© Вахштайн Виктор, 2003

¹ Необходимо разделить категории «резидентного» и «резидентального». Резидентной группой является группа, наделенная резидентным статусом – старожилы, «старые семьи» и т.д. Резидентальная группа – всякая социальная группа, являющаяся субъектом резидентности. «Резидентальное» – более общее понятие, включающее в себя «резидентное» и «нерезидентное».

резидентальным стратом; они вообще оказываются за скобками стратификационного членения. Однако такая «непричастность» к стратификации внутри сообщества лишь усиливает дистанцию между непризнанными «подлинными резидентами» и «оккупантами». В приведенном примере резидентальная дистанция имеет выраженную пространственную проекцию: в первом случае административную границу, во втором – пятиметровую стену.

В каких условиях фактор резидентности начинает оказывать влияние на социальную дифференциацию? Резидентность существует практически во всех социальных системах, *обладающих территорией* и вовлеченных в процессы *миграции*. Резидентальные отношения возникают в условиях «постоянства» территории и «непостоянства» состава ее обитателей. Соответственно, в тех сообществах, где а) территория представляет собой дефицитный ресурс, за который идет борьба (или «конкуренция на биотическом уровне», пользуясь выражением Р. Парка [5]); и б) территория более значима как объект идентификации (имеется ввиду отождествление группы с занимаемым ею пространством), создаются более благоприятные условия для развития резидентности. В то же время, в отсутствие миграционных процессов – даже при самой сильной связи с Землей и Местом – резидентность не возникает. Не возникает она и в кочевых общинах, не привязанных к занимаемой территории.

Необходимо выделить первичную и вторичную резидентность. *Первичная резидентность* – это различия в сроках проживания на протяжении жизни одного поколения. Иными словами, это различия между приехавшими раньше и приехавшими позже. *Вторичная резидентность* предполагает деление на «старосемейные» и «новосемейные» группы (У. Уорнер) – на потомков старожилов и новоприбывших [29, с. 211].

На микроуровне, уровне малых социальных групп, вторичная резидентность отсутствует. Различия между «новичками» и «старожилами» в классе средней школы или в общежитской комнате – это первичные резидентальные различия. Мы также можем говорить о доминировании первичной резидентности и на мезоуровне, уровне организаций. Однако здесь эти различия институционализируются – появляются как формальные институты, закрепляющие резидентальное неравенство («выслуга лет»), так и их неформальные аналоги («дедовщина»). С возникновением вторичной резидентности статус резидента начинает передаваться по наследству, резидентальная структура усложняется и возникает *резидентальная триада*: деление на «коренных», «старожилов» и «новичков». Соответственно, нами выделяются три *этапа* развития резидентальной дифференциации: 1) формирование первичной резидентности; 2) становление резидентальной триады «коренных – старожилов – новичков»; 3) дифференциация «коренных» на «старые» и «новые» семьи.

Можно выделить также три основания резидентальной дифференциации, проявляющиеся, фактически, на любом уровне: от общежитской комнаты до общества. Это неравное *распределение ресурсов* (прибывшие раньше имеют больше возможностей для их «узурпации»), специфический *социальный навык*, обретаемый новичком в процессе социализации, и *ценности места* (культурный капитал), на выражение которых могут претендовать лишь резиденты. Четвертое основание – *формальные институты*, закрепляющие резидентальные различия, – не является универсальным, существующим на всех уровнях. Оно представляет собой основание *воспроизводства* резидентальных различий.

Удельный вес каждого основания определяется не только спецификой социальной системы, но и формой резидентности. В США различия между российскими иммигрантами 70-х и 90-х годов обусловлены разной интегрированностью в ткань американского общества. Старожилы видят в новоприбывших конкурентов, приехавших занять их рабочие места. В этом специфика первичной резидентности.

Иной характер носит разделение на «старые» и «новые» американские семьи. Потомки «первопроходцев» и «отцов-основателей» дорожат своим статусом резидентов,

дающим им право на выражение «подлинно-американских ценностей». Вторичная резидентность в большей степени связана с культурными, символическими основаниями резидентальной дифференциации, поскольку различия в обладании ресурсами и социальными навыками между потомками старожилов и новичков менее значимы.

Мы исходим из двух базовых предположений. Во-первых, резидентальные различия универсальны – дифференциация на тех, кто пришел раньше и тех, кто пришел позже обнаруживается и в общежитских комнатах и в государствах иммигрантов. Во-вторых, формирующиеся во времени резидентальные различия объективируются в пространстве, организуя социальные взаимодействия.

Поскольку резидентность определяется через *срок* проживания (период времени) на определенной *территории* (фрагмент пространства), пространство и время представляют для нее фундаментальные схемы различения. Однако попытка вписать резидентность в более широкий социально-теоретический контекст посредством анализа ее временных и пространственных аспектов обнаруживает ряд препятствий. Главное из них состоит в том, что «социология времени» и «социология пространства» – это два различных типа теоретизирования [30]. «Решение в пользу *социологии* времени, – отмечает А.Ф. Филиппов, – означает, что поведение людей, их действия интересуют социолога как «осмысленные действия», что главное для него... «субъективно значимый смысл». Фактически происходящее совершается в настоящем. Прошлое и будущее – это смысловые проекции. Но смысловое есть нечто *нетелесное*. Смысл существует не в теле (хотя выражен только через материально-телесные носители), т.е. не имеет места в пространстве» [31, с. 107]. Напротив, решение в пользу социологии пространства предполагает акцент на телесном, материальном аспекте взаимодействия. Отсюда вывод: социология времени связана с социологией смысла, социология пространства – с социологией тела.

Не заостряя сейчас внимания на «переоткрытии телесности» и том влиянии, которое социология тела оказала на социологию пространства [7], зафиксируем в качестве центрального для нашего дальнейшего рассуждения понятие «*субъективно значимого смысла действия*». Смысл не имеет ни телесной, ни пространственной локализации – он не вписан в тело действующего, как мысль не «вписана» в мозг мыслящего, и не вписан в пространство совершения действия, подобно тому, как шкаф вписан в интерьер комнаты. Смысл связан с темпоральной организацией действия (по Парсонсу: «время действия – способ связи средств и целей и других элементов действия» [6, р. 736]), но может быть *соотнесен* или *не соотнесен* с местом действия. Категория «отнесения к месту» позволяет нам говорить о месте как о *смысловом конструкте*, вычленяемом из пространства взаимодействия посредством соотнесения с ним некоторого субъективного смысла участниками взаимодействия или его наблюдателем.

Применительно к резидентальной дифференциации этот вывод означает, что не само по себе одновременное прибытие людей на некоторую территорию проводит различия между ними (в том числе и пространственно оформленные различия), но тот субъективно значимый смысл, который с этой территорией соотносится, закрепляется в ценностно-нормативных конструктах и воспроизводится в рутинизированных социальных практиках. Согласно нашей гипотезе *территория, общее пространство взаимодействия, является одновременно и исходным условием развития резидентности и своего рода «экраном», на который резидентальные различия проецируются.*

Почему именно «смысл» был выбран в качестве связующего звена между пространством и временем? Почему действие – рефлексивное, интенциональное, обладающее темпоральной организацией и на уровне субъективного смысла соотносимое с пространством – оказалось в фокусе анализа пространственной дифференциации резидентальных групп? Может ли задача исследования темпоральных механизмов организации пространства быть решена без апелляции к субъективным смыслам

действующих (в нашем случае – резидентов и нерезидентов, «старых» и «новых»), без анализа их «определений мест»²?

Акционистская перспектива рассмотрения резидентальной дифференциации – не единственно возможная, а временные механизмы организации мест могут быть проанализированы без обращения к конституирующим их взаимодействиям. Противоположный акционистскому, структуралистский анализ резидентности покоится на принципиально иных допущениях о взаимосвязи социального, пространственного и временного. Центральным из них является тезис социальной морфологии Дюркгейма: пространственная (и временная) организация жизни сообщества есть своего рода проекция социальной организации.

«Пространство не было бы самим собой, если бы, *подобно времени*, оно не было разделенным и дифференцированным, – пишет Дюркгейм, – Но откуда берутся эти столь существенные разделения? ... Все эти различия очевидным образом идут оттого, что регионам приписывают различную аффективную ценность». [22]. Хотя этот тезис также покоится на постулировании некой «аффективной ценности» придаваемой пространству, которое само по себе никакой ценности не имеет, идея места как смыслового конструкта уступает идее места как локализации социальных фактов и функций, а зиммелевское представление об однородности и уникальности пространства и мест-в-пространстве сменяется представлением о пространстве дифференцированном и «утилизированном» [33, с. 67].

На первый взгляд реалистская дюркгеймианская традиция с ее установкой на анализ пространственных проекций социальных фактов более адекватна поставленной задаче анализа резидентальной *дифференциации*. Для доказательства существования резидентности достаточно представить зависимость между временем прибытия тех или иных групп на обозначенную территорию и схемами их пространственного размещения, обнаруживая пространственные проекции – границы, дистанции – дифференциации резидентальных групп. (В частности, подобная зависимость была представлена У. Уорнером в его исследовании, посвященном социальной стратификации в городе Янки-Сити [13], где различия между резидентными и нерезидентными группами приобрели пространственное выражение).

Однако описания корреляции явно не достаточно для построения объяснительных моделей. Последние же основаны на вменении «причиняющего действия»: приписывании его либо самому пространству (эта точка зрения развита в бихевиористской географии [2], [10], где среда описывается как источник стимулов, а человеческое поведение – как реакция на них), либо некоторым непространственным социальным силам, что позволяет говорить о «конструировании пространства». Признание приоритета за пространством – значительно более уязвимая позиция. Ее детальная критика изложена в работе Б. Верлена «Общество, Пространство и Действие» [11].

Верлен принципиально отказывает пространству в «причинности» и считает спациолизм фундаментальной ошибкой географии, полагающейся «наукой о пространстве». Пространство не может быть предметом отдельной дисциплины, поскольку такой «вещи» как пространство не существует – пространство есть «отношение вещей» (Г. Лейбниц). Истоки геодетерминистского заблуждения Верлен возводит к субстантивистским определениям пространства как «идеи протяженности, тождественной идее телесной субстанции» (Р. Декарт) или как «абсолютному, неподвижному пространству» (И. Ньютон) [11, с. 32].

В то же время, признание пространства исключительно «лишенным причинности социальным конструктом», не оказывающим обратного действия на организующие его факторы, также представляется нам ошибочным. Далее мы будем исходить из принципа «реципрокной детерминации»: пространство конструируется социальным взаимодействием,

² Мы говорим об «определении места» по аналогии с разработанным в прагматистской традиции понятием «определения ситуации» [8, р. 26].

но формы этого взаимодействия объективируются, овеществляются в пространстве (например, в неравном распределении ресурсов и «ценностей»). Не случайно П. Бурдьё пишет о «власти пространства» над телом человека [16, с. 40], а Лефевр говорит о «молчании пользователей пространства» [4, р. 141]. Иными словами, пространство выступает объектом *структуриации*; «социальное» не просто «натурализуется» в пространственном, оно испытывает на себе и обратное влияние объективированных в пространстве социальных форм, направляющих рутинизировавшееся взаимодействие.

Отступление к проблеме детерминации и вменении причинности потребовалось нам для того чтобы развести два аргумента, используемых «через запятую» сторонниками акционистского анализа: а) пространство есть социальный конструкт, лишенный «причиняющего» действия; б) пространство может быть понято только через обращение к субъектному, интенциональному, рефлексивному действию. (Такая логика рассуждений прослеживается, например, в первой главе книги Верлена «Пространство и причинность, или Что случилось с субъектом?» [11]).

Даже если мы признаем, что пространство сконструировано, а не дано нам изначально как условие поведения, это еще не означает, что оно сконструировано именно социальными субъектами в процессе взаимодействия. Акционистская «установка на действие» не вытекает органически из признания конструируемости пространства, поскольку пространство может быть также «сконструировано» *социальными фактами* (социальная морфология Э. Дюркгейма), *отношениями производства* (марксистская социология пространства А. Лефевра), *социальным пространством*, понимаемым метафорически, как пространство социальных позиций (П. Бурдьё), *знаковыми системами, семантическими полями и семиотическими кодами* (структурная антропология К. Леви-Стросса, семиотика пространства Ю.М. Лотмана).

Так, Анри Лефевр отталкивается от идеи создаваемости, производимости пространства: «Пространство (социальное) есть продукт (социальный)» [23, с. 1]. Однако, будучи средством производства, оно одновременно является и средством контроля; в этом смысле оно так же «реально» как товар или деньги. Что «производит» пространство? (Вопрос «кто?» в лефевровском дискурсе исключен. Субъект лишь «проживает» то, что создается «обществами»). «Природа... – это не что иное, как *исходный материал*, – пишет Лефевр, – поле деятельности производительных сил различных обществ, создававших свое пространство» [23, с. 3]. Но далее Лефевру приходится отвечать на вопрос о локализации социальных отношений производства – на все тот же вопрос о «пространственности» социального. Последовательное развитие идеи производства пространства приводит его к выводу: «Социальные отношения производства имеют социальное существование лишь постольку, поскольку они существуют в пространстве; они проецируются в пространство и в то же время производят его» [4, р. 151-152].

Верлен называет формулировку Лефевра «двойной реификацией»: реификацией пространства и реификацией отношений производства [11, с. 34]. Так, если бы мы попытались определить влияние резидентальных социальных отношений на пространство, в котором они разворачиваются, следуя логике Лефевра, нам бы пришлось сначала реифицировать резидентность, наделив ее самостоятельной «причиняющей» силой и непроницаемостью социального факта, а затем – редуцировать ее к пространственным, материальным проявлениям, поскольку только материальное может быть пространственным.

Сходные принципы «бессубъектного» анализа пространственной дифференциации были предложены П. Бурдьё. Понятие «социального пространства», как пространства позиций, у Бурдьё значительно шире, чем понятие «отношений производства» у Лефевра, однако механизм «вписывания» социального в физическую среду – тот же: «Социальное пространство стремится преобразоваться в физическое пространство с помощью искоренения или депортации некоторых людей...» [16, с. 34]. Люди здесь – объекты действия неких, независящих от их усилий, «стремлений» социального пространства, и даже когда речь заходит о влиянии индивидуальных акторов, Бурдьё подчеркивает – не субъект,

не интенциональное действие, а *habitus*, вписанная в тело структура, формирует место обитания (*habitat*) посредством более или менее адекватного социального употребления этого места обитания³.

В основных же посылках Бурдьё и Лефевр сходятся. Во-первых, у Бурдьё пространство – также является конструктом: «То пространство, в котором мы обитаем и которое мы познаем, является социально обозначенным и сконструированным» [16, с. 37]. Во-вторых, социальное также «объективировано», «вписано» в пространственное: «физическое пространство есть социальная конструкция и проекция социального пространства, социальная структура в объективированном состоянии (как, например, кабилский дом или план города), объективация и натурализация прошлых и настоящих социальных отношений» [16, с. 37]. В-третьих, пространство у Бурдьё также является предметом борьбы: «Пространство, точнее места и площади овеществленного социального пространства или присвоенного физического пространства обязаны своей дефицитностью и своей ценностью тому, что они суть цели борьбы, происходящей в различных полях, в той мере, в какой они обозначают или обеспечивают более или менее решительное преимущество в этой борьбе» [16, с. 40]. Но здесь кроется серьезное расхождение позиций Бурдьё с позициями Лефевра. Для Лефевра пространство – предмет «политико-экономической» борьбы за средства производства. Тогда как у Бурдьё описана символическая борьба, – это в первую очередь борьба за престижные, наделенные символической ценностью места.

Схема резидентности как фактора пространственной дифференциации в такой перспективе оказывается упрощенной: а) различия во времени проживания образуют социальные различия, которые при определенных обстоятельствах становятся значимыми; б) данные различия закрепляются в социальном пространстве, как различия резидентальных позиций в социальной структуре; в) социальное пространство вторгается в пространство физическое, в результате чего резидентальные различия объективируются. Время (имеется ввиду резидентальное время – время проживания) и пространство рассматриваются лишь как ресурсы, позволяющие одной резидентальной группе добиться господства (политического, экономического и символического) над другой. А потому время по аналогии с пространством наделяется обратимостью. Прошлое и будущее, присутствующие в настоящем, как составные части темпоральной структуры могут перекомбинироваться и менять свое содержание, поскольку – развивая мысль Дюркгейма – различным *периодам* также приписывается различная аффективная ценность.

Сведение пространства и времени к ресурсным характеристикам – один из примеров редукции. В более широком контексте исследование временных механизмов организации пространства здесь проявляется в поиске связей *темпоральных* и *пространственных* структур, безотносительно к действиям субъектов и их «определениям мест».

Понятие темпоральности не просто как «свойства, присущего сознанию» (именно так понимают ее Бергер и Лукман) [15, с. 113], а как нарратива, объективированного в публичных текстах, предложено в работах Д. Карра. Он связывает «прошлое», «настоящее» и «будущее» в темпоральную структуру, имманентно присутствующую в повседневном взаимодействии и выраженную в нарративах [1, р. 18]. Примерами нарративов могут быть такие объективированные конструкции как «Мы – дети Октябрьской революции и строим коммунизм» [27, с. 34], «Мы – потомки первых переселенцев и ведем за собой мир по пути Демократии», «Мы – наследники первого сионистского Конгресса и строим еврейское государство». Ярким примером нарратива, отражающего резидентальную темпоральную структуру, является сформулированный Уорнером «манифест» жителей Янки-Сити: «... в то время, как нация находится на пути к мировому величию, мы, жители Янки-Сити, заложившие начало всего того, что ныне существует, обладаем уникального рода престижем, который разделяют с нами лишь те, кто жил во времена, когда зарождалось Великое

³ Любопытно, что такой структуралистский подход к пространственной дифференциации не вызывает критики акциониста Верлена, напротив, он подчеркивает близость своих взглядов взглядам Бурдьё [11, Ch. 6].

Общество. И чтобы утвердить за собой права законных наследников и сегодняшних владельцев великой традиции, те, кто живет не здесь – а это сто с лишним миллионов человек, – должны прийти к нам. Именно в нас живет великая традиция и именно наши символы легитимно ее выражают» [29, с. 240].

Темпоральная структура всегда содержит отсылку к прошлому или «началу» («заложившие начало, всего того, что ныне существует»), указывает на настоящее («обладаем уникального рода престижем»), отражает цель («мировое величие»). Прошлое будущее и настоящее сосуществуют в тексте нарратива, выполняющего функцию *идентификации*; в приведенном выше примере – резидентальной идентификации.

Есть ли у такого текста автор? Нарратив жителей Янки-Сити является неотъемлемой частью их резидентальной идентичности и местоимение «мы» в нем относится ко всем носителям резидентного статуса. Но текст этот не принадлежит ни одному из резидентов, здесь структуралистский анализ «убивает» автора для того чтобы выявить в тексте независимую от волеи отдельных субъектов темпоральную структуру резидентности.

Поиск взаимосвязи темпоральных и пространственных структур резидентности – в том числе и в публичных нарративах – представляется нам уязвимым в первую очередь в методологическом отношении. Такую методологическую установку У. Эко называет «онтологическим структурализмом». Поиск «глубинной структуры», Кода Кодов (или, в той же терминологии, Метакода, связующего пространство и время) – отличительная черта структуралистской семиотики пространства. Однако, «приравнивая» время к пространству, такой подход допускает объяснение «по аналогии». Уравнивание пространства и времени в семиотическом «анализе по аналогии» приводит к тому, что время и пространство трактуются как безавторские тексты – «время как текст» и «пространство как текст» – которые можно рассыпать на синтагмы и провести беспристрастный (здесь – структуралистский) анализ. Сходную операцию совершает Леви-Стросс в финале «Сырого и приготовленного» [24, с. 320], пытаясь выявить в любом мифе какую-то элементарную мифологическую структуру, которая а priori представляет собой структуру всякой умственной деятельности и, стало быть, «структуру Духа».

Однако семиотический анализ пространства, являясь частным случаем структуралистского анализа, оставляет без ответа вопрос о том, каким образом «не пространственные, но темпоральные» смыслы структурируют пространство человеческого взаимодействия. Тем более абсурдным в этой рамке рассуждений оказывается вопрос о локализации упомянутой «глубинной» структуры – на какой «глубине», в каком слое реальности следует ее искать, если знаковые системы описываются как надмирные и внепространственные носители абсолютных структур. (Одна из версий ответа на этот вопрос предложена Ю.М. Лотманом. По аналогии с пространством физическим он описывает «пространство» смысловое – *семиосферу* [25]).

Как отмечает А.Ф. Филиппов: «Чрезмерное значение, придаваемое системам значений, будь то растворение реальности в тексте или приписывание культурным смыслам роли исключительного источника активности, нигде не оказывается столь неудовлетворительным, как в случае с пространством... Сам смысл пространственности состоит в том, чтобы быть чем-то, кроме смысла, чем-то превосходящим символические коды и навязывающим себя нам с той несомненностью, которая неведома текстам» [32].

Для целей нашего анализа резидентности от «объективированного смысла» нужно вернуться к смыслу субъективно полагаемому, соотносимому с местом действия, что требует реабилитации действующего в пространстве и времени субъекта. Резидентальная дифференциация – следствие взаимодействия резидентальных субъектов, а не объективация социальных или смысловых структур.

Установка на «возвращение пространству субъекта» не нова. Так, английский социальный географ Н. Трифт предлагает «конституировать регион как структуру взаимодействий», что дает ему возможность рассмотреть жизненную траекторию, как распределение «времени» между «местами» [9, р. 16]. Отправным пунктом концепции

«временной географии» шведского географа Т. Хэгерстранда является феномен рутинного характера повседневных действий, который связывается с возможностями человека перемещаться, изменяться и общаться, с траекторией движения в рамках «жизненного цикла» [3], а, следовательно – с человеческим существом, рассматриваемым как «*биографический проект*». Одно из центральных понятий теории структуризации Э. Гидденса – «локал» – связывает в единый смысловой комплекс физическое пространство и типичные повседневные взаимодействия.

Идея локала у Гидденса противостоит одновременно и укоренившемуся в географии понятию «местоположения» («в контексте социальной теории понятие “местоположения” не может использоваться просто для обозначения “точки в пространстве”, так же, как мы не имеем права говорить о моментах времени как последовательности “сейчас”») и понятию «места обитания» (*habitat* Бурдье), которое может лишь быть «использованным более или менее адекватно». Понятие локала подразумевает использование пространства с целью обеспечения *среды протекания* взаимодействия, необходимой для определения его *контекстуальности* [19, с. 185].

«Локал» ценен для нас также и тем, что вместе с действием возвращает пространству конституирующий его смысл. «Мы говорим о действиях в квартире, – пишет А.Ф. Филиппов, – но саму квартиру мы называем квартирой только потому, что составленные в некотором порядке бетонные блоки связаны (сейчас, в прошлом, в будущем) с определенными действиями. И эти действия могли бы показаться нам *бессмысленными* (неуместными), если бы совершались вне и помимо этих бетонных (деревянных, кирпичных, саманных и проч.) стен» [32, с. 95].

Другое понятие теории структуризации Гидденса – *регионализация локала*. «Локалы, – пишет Гидденс, – могут колебаться в известных пределах – от комнаты в доме, уличного перекрестка, фабричного цеха, небольших городов и крупных мегаполисов до государственных, имеющих четко определенные территориальные границы. Обычно локалы «*районированы*» внутри и внутренние зоны играют важную роль в процессе формирования контекстов взаимодействия» [19, с. 185].

Использование понятия локала для исследования резидентальной дифференциации позволяет заново поставить вопрос об «уровнях» резидентности. Регионализированный локал не может быть сколь угодно малым или большим. То, что рассматривается как локал на одном уровне, оказывается регионом на другом.

Город – арена первичной и вторичной резидентальной дифференциации является регионом локалов «страна», «штат», «область», «графство» и т.д. Так, в современном Израиле своего рода «резидентальными заповедниками» являются города, построенные в годы первой волны репатриации, в конце XIX века. Резидентность подчеркивается данными им названиями – Ришон-ле-Цион (Первый на Сионе), Рош-Пина (Глава угла) и т.д. Резидентальная дифференциация может проявляться и на уровне более крупных территориальных общностей в рамках страны – штатов, графств, земель, районов. Примером может быть борьба двух «резидентных штатов» США – Массачусетса и Вирджинии – за право называться «The Basic State». (В конечном итоге эта надпись была сохранена на автомобильных номерах штата Массачусетс, как более «резидентного»).

Однако можем ли мы говорить о «странах» как регионах локала «мировая система»? Вряд ли это возможно в контексте резидентности, поскольку дифференциация стран в современном мире основана не на резидентальных критериях. Тем не менее, в территориальных спорах между соседними государствами – фактор резидентности (кто занимал эту землю раньше) оказывается не последним аргументом. В этом случае можно зафиксировать локал «регион» (в ином, нежели у Гидденса смысле), включающий в себя данные государства. К примеру, «ближневосточный регион» – не географическое понятие, а политическая конструкция – представляет собой локал, который конституирован взаимодействием субъектов конфликта и его наблюдателями.

Если понимаемый таким образом «регион» – верхняя граница резидентности, за которой она перестает играть роль фактора дифференциации, каковы нижние границы, пределы резидентности на микроуровне?

Город – это не только регион локала «штат», «область», «страна», но и самостоятельный локал, в котором происходит взаимодействие субъектов резидентности, локализованных в его регионах – районах, кварталах, улицах, соседствах, гетто. Неодновременность возникновения городских кварталов придает резидентальным различиям на городском уровне выраженные формы пространственной дифференциации.

Примером более или менее жестко дифференцированного по критерию резидентности города служит Хайфа. Город расположен на трех террасах, спускающихся к морю. Однако самые дорогие дома находятся не в прибрежной полосе (как в большинстве приморских городов), а на верхней террасе. Связано это с тем, что город начал расти «сверху» и верхняя терраса была заселена подлинными резидентами – «отцами-основателями». По мере прибытия новички селились ближе к морю, заселяя среднюю и нижнюю террасы. Таким образом, волны иммиграции обусловили рост города, определив его социальную структуру и современный облик («промышленная зона» также находится в прибрежной полосе, верхняя терраса – самый экологически чистый район города). Теперь на верхней террасе расположены элитные дома, а сам факт проживания в этом районе служит своего рода индикатором принадлежности к «старым семьям».

Но и кварталы могут быть регионализированными локалами, в которых резидентность оказывается значимым фактором социального взаимодействия. Это более заметно в городских «соседствах», имеющих формы общественного самоуправления. Субъекты резидентности здесь – семьи и индивиды, также «локализованы» пространственно – в занимаемых ими домах.

Говорить о доме как о резидентальном локале также можно лишь в том случае, если речь идет не о «семье» (семья – самостоятельный субъект резидентности), а о «жилых» или «квартиросъемщиках». Тогда задача – в крайнем своем варианте – сводится к случаю общежитской комнаты, становящейся аренной яростной «борьбы за жизненное пространство» между старожилками и новичками. Элементарные, далее не дифференцируемые «места» здесь – студенческие койки, места для одежды в шкафу, места за письменным столом. Их размер сопоставим с размерами человеческого тела, конечной универсалией дифференциации пространства взаимодействия. Именно с размерами тела связан нижний предел действия резидентности.

Подобный анализ позволяет поставить вопрос о *моделях регионализации*, типах зонирования локалов резидентального взаимодействия. Э. Гидденс выделяет (а вернее заимствует у И. Гофмана) две оси регионализации: «передний план – задний план» и «раскрытие – замкнутость» [19, с. 199]. Основное (и далеко не бесспорное) допущение Гидденса состоит в том, что различия между обособленностью, раскрытием, задними и передними планами проявляются не только в контекстах соприсутствия (которое было основным предметом исследования Гофмана), но и в расширенных диапазонах пространства-времени. Например, данная модель регионализации обнаруживается Гидденсом в исследованиях зонирования городского пространства Р. Парком и Э. Берджессом. Ярким примером регионализованного резидентального локала является исследованный У. Уорнером новоанглийский город Янки-Сити, в котором взаимодействие резидентальных групп – иммигрантов, потомков иммигрантов (новых семей) и потомков отцов-основателей (старых семей) – способствовало «регионализации» города, конституировало его «внутренние границы» [13], [29].

Постановка проблемы резидентности как фактора пространственной дифференциации в акционистском ключе не только связывает резидентность с взаимодействием субъектов, но и «возвращает» в ее исследования понятие *смысла*, соотносимого с пространством взаимодействия. Не одна ограниченность территории, но и идентификация с ней, и

соотнесение с «местом» некоторой «идеи места» определяет регионализацию резидентальных локалов. Таким образом, пространство оказывается одновременно предметом *биотической* и *символической* борьбы. Теоретические основания подобного различения можно обнаружить в работах Р. Парка, выделившего четыре этапа на пути от биотического уровня к социальному: экологический, экономический, политический и культурный порядки.

Биотический уровень – уровень борьбы за территорию – связан с ресурсными основаниями резидентности; «смысл места» отсутствует или не принимается во внимание субъектами взаимодействия. (Поэтому биотическая резидентность оказывается фактором структурирования территории взаимодействия не только людей, но и животных [12, р. 211]. Здесь нет необходимости говорить о «смысле места», хотя ряд социобиологов настаивает на том, что, помечая свою территорию, животные осуществляют коммуникативную функцию. Тем не менее, речь идет не о рефлексивном и интенциональном действии сознательных существ, а о поведении живых организмов в пространстве). К биотическому же уровню нами относятся и описанные Парком формы «экономического порядка», надстроенного над экологическим. Резидентность здесь – в первую очередь фактор стратификации, поскольку земля представляет собой уже не просто «средство выживания», но ценный ресурс, от обладания или не обладания которым зависит позиция отдельного индивида в социальной структуре.

Примеры такого рода биотической резидентальной дифференциации можно обнаружить в истории освоения «окраин Российской империи». Географ и экономист начала XX века Н. Огановский описывает как резидентальный локал Сибирь, которая «...заселяется переселенцами из России, преимущественно с 80-х годов. До тех пор там существовали на просторе те элементы, которые ныне именуются “старожилами”. Эти элементы, пользуясь земельным простором, захватили в свои руки большое количество полей, сравнительно разбогатели и являются по отношению к прибывающим новоселам тем, что г.г. марксисты называют “сельской буржуазией”. Теперь нам ясна причина сибирской “дифференциации”. Она лежит во времени переселения: старожилы отслаиваются в ряды “капиталистов”, новоселы – в “пролетариат”. И чем позднее приходят переселенцы, тем экономически положение их хуже» [26, с. 165].

Символические аспекты резидентности имеют качественно иной характер. Здесь «земля», «территория», «общее пространство взаимодействия» – не ресурс, за контроль над которым идет борьба «старых» и «новых», а символ, предмет интерпретаций со стороны «коренных» и «пришлых». Символические аспекты резидентности так же тесно связаны с ее ценностными, культурными основаниями, как биотические – с ресурсными, а потому более заметны в перспективе вторичной резидентности.

Примеры «конфликта интерпретаций территории» в сфере политической борьбы легко обнаружить в новейшей истории России. Эксперты Фонда Карнеги, анализируя образы российских регионов в публичных текстах, зафиксировали стремительную мифологизацию территорий после референдума 1993 г.

Мифологизация пространства осуществляется за счет интерпретаций исторических и статистических данных. Эксперт фонда А. Титков отмечает, что самыми интерпретируемыми оказываются данные о размерах территорий и времени их существования: «В модели “коммунистов” территории, проголосовавшие против Президента, наделяются, помимо огромной пространственной протяженности, такой же длительностью существования во времени: “Против высказались **традиционные** русские регионы”; “Это – прежде всего **коренная исконная** Центральная Россия. Вот **древний**, пограничный ныне, Псковский край, вот соседняя горькая Смоленщина...”; “это центры **исконных исторических** областей проживания русского и других **коренных** народов России, областей, **первыми** принимавших на себя удары агрессоров”» [28, с. 46].

Как соотносятся между собой биотические и символические аспекты резидентности? Место как «жизненное пространство» и Место, как предмет интерпретации? Является ли

возникновение символического уровня резидентности результатом поэтапной эволюции (как в концепции Р. Парка) от элементарных форм биотической конкуренции «за место под солнцем», к символической борьбе за право присвоения смыслов тому или иному Месту? Или же существует некий символично-биотический дуализм, относительная автономность биотического и символического, благодаря которой символический уровень не «надстраивается» над биотическим, а может быть предпослан ему, направляя структурирование пространства (и, в свою очередь, определяя правила борьбы «за место» на биотическом уровне)? Наконец, какие механизмы обеспечивают связь символического и биотического уровней и каким образом они соотносятся с механизмами временной организации пространства?

Мы исходим из предположения, что обязательной эволюции от элементарных форм конкуренции за «место под солнцем» к символической борьбе интерпретаций не существует. Для возникновения интерпретаций пространства (с последующим их противоборством или сосуществованием) нет необходимости жить на этой территории, бороться за нее с соседом, который пришел раньше/позже тебя. Однако механизмы дифференциации территории, на которой происходит борьба за «жизненное пространство» (биотическая конкуренция), механизмы зонирования места, с которым новоприбывшие связывают осуществление своих проектов (предпосланный смысл), и механизмы регионализации локала, в котором длительное взаимодействие субъектов породило свои табу и мифы (надстраивание смысла), различны.

Первый случай вообще не требует апелляции к субъективному смыслу взаимодействий: нам нет необходимости реконструировать «смысл поведения» волков для того чтобы понять – почему более многочисленная стая «новоприбывших» вытесняет с исконного места стаю «старожилов» [12]. Мы также можем, до определенной степени, без всяких отсылок к субъективности рассмотреть процессы джентрификации в современном американском городе как процессы «выдавливания» коренных малообеспеченных жителей городских «соседств» представителями среднего класса, переселяющимися обратно в город из предместий [20]. Их возвращение приносит с собой рост цен на жилье, что приводит к массовому «исходу» резидентов. Однако попытки анализа механического вытеснения «старых» «новыми» заканчиваются там, где в данные взаимодействия вмешивается символический смысл. Джентрификация перестает быть стихийным выдавливанием резидентов новичками, как только ей начинает противостоять организованное движение журналистов, архитекторов, юристов и урбанистов-«охранителей», постулирующих безоговорочную *ценность* «соседств» и требующих от городских властей установления жестких «квот джентрификации» во имя сохранения исторического облика городских кварталов [21, с. 156].

Два других случая явно выходят за рамки биотических аспектов резидентности. Однако в одном случае дифференциация места, его регионализация как локала, осуществляется на основе уже некоего предпосланного смысла (символический уровень предпослан биотическому), а в другом – символизм места возникает как результат взаимодействия (символический уровень надстраивается на биотическом). В первом случае «ориентация на реализацию *проекта* (предпосланного смысла)», предполагающая «установку на будущее», создает основу для развития *перспективных механизмов организации пространства*. Во втором – «установка на прошлое», «ориентация на сохранение исторической памяти» пробуждает к жизни *ретроспективные механизмы*. Так, мы говорим о Проекте и Памяти, как «каналах», через которые время объективируется в пространстве. Проект – интенциональный, устремленный к цели, предполагающий «для-того-чтобы» мотивацию – привносит будущее в настоящее. Память – рефлексивная, ориентированная на сохранение существующего, диктующая мотивацию «потому-что» – наделяет настоящее смыслами, почерпнутыми из прошлого. Смерть одного из членов семьи, безусловно, изменяет характер регионализации квартиры. Однако какие изменения последуют в ее «обстановке»? Захотят ли родственники сохранить все, как было при

умершем, чтобы сам интерьер служил напоминанием? Или предпочтут полностью сменить «обстановку», что уже давно планировали? Их решение зависит от того, какой смысл будет придан ими данному месту.

Значит ли это, что время вмещается в пространство только посредством «темпоральных смыслов»? Очевидно, нет. Время оказывает воздействие и на биотические аспекты резидентности, но здесь оно еще не наделяется *значениями*. Это «объективное» время прибытия создает «объективные» дистанции между старожилами и новичками. Однако сами по себе – без символической легитимации – эти различия остаются значимыми лишь на определенный, недолгий срок. Только их осознание и интерпретация обеспечивают резидентальной дифференциации устойчивость и воспроизводство.

Введение в проблематику темпоральных механизмов организации пространства категорий «проекта» и «памяти» (как совокупностей проспективных и ретроспективных механизмов) позволяет подключить ряд теоретических ресурсов, расширяющих акционистскую перспективу анализа. Это в первую очередь «деятельностная» концепция памяти Э. Гидденса [19], конструктивистский подход к пониманию «исторической памяти» Б. Андерсона [14], идеи темпоральной организации памяти сообщества А. Шюца (восходящие к описанию памяти через механизмы «ретенции-импрессии-протенции» в работах Гуссерля [21], теория эвокативных⁴ символов У. Уорнера [29].

Анализ проспективных механизмов может быть продолжен на примере социальной организации пространства «воплощенных утопий»: от «Нового Сиона» Дж. Смита и «Икарии» Э. Кабе до города Пуллмана, последней индустриальной утопии ушедшего века; анализ ретроспективных механизмов – на материале ритуалов «сакрализации старых мест», «пространственных проекций символической функции кладбищ» (У. Уорнер) и т.д.

Рамки данной работы не позволяют нам реализовать этот замысел. Однако модель «резидентального сообщества» может быть и далее использована для более детального рассмотрения темпоральной организации пространства социального взаимодействия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Carr D. Time, narrative and history. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 1991.
2. Gold J.R. An Introduction to Behavioral Geography. Oxford: Oxford University Press, 1980.
3. Hagerstrand T. Space, Time and Human Conditions. Farnborough: Saxon House, 1975.
4. Lefebvre H. The Production of Space. Oxford: Blackwell Publishers, 1994.
5. Park R. Human Ecology // American Sociological Review. Vol. 42. 1936.
6. Parsons T. The Structure of Social Action. N.Y., 1937.
7. The Body. Social Process and Cultural Theory / Ed. by M. Featherstone, M. Hepworth, B.S. Turner. London, 1991.
8. Thomas W. Primitive behavior. New York: Harper&Raw, 1937.
9. Thrift N. On the Determination of Social Action in Space and Time // Spatial Formations. London etc.: SAGE Publications, 1996.
10. Walmsley D.J., Lewis G.J. Human Geography Behavioral Approaches. London, New York: Longman, 1964.
11. Werlen B. Society, Action and Space. An alternative Human Geography. London, New York: Routledge, 1993.
12. Wilson E.O. Sociobiology. A new synthesis. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.
13. Yankee City / Ed. by W.L. Warner. New Haven & London: Yale Univ. Press, 1963.
14. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В. Николаева; вступ. ст. С. Баньковской. М.: «Канон-Пресс-Ц», «Кучково поле», 2001.

⁴ От английского evocative – восстанавливающий в памяти, вызывающий воспоминания.

15. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / Пер. с англ. Е.Д. Руткевич. М.: Academia-центр, Медиум, 1995.
16. Бурдьё П. Социология политики / Пер. с фр. Н.А. Шматко / Сост., общ. ред. и предисл. Н.А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993.
17. Вахитайн В. Резидентность как фактор социальной стратификации // Экономическая социология. 2003. Т. 4. № 3.
18. Верлен Б. Общество, действие и пространство. Альтернативная социальная география / Пер. с англ. С.П. Баньковская // Социологическое обозрение. 2001. Т. 1. № 2.
19. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. М.: Академический Проект, 2003.
20. Грац. Р. Город в Америке: жители и власти / Пер. с англ. В.Л. Глазычев. М.: Ладья, 1995.
21. Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени // Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. 1. М.: Гнозис, 1994.
22. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. М.: Канон, 1998.
23. Лефевр А. Производство пространства / Пер. с фр. С. Эфиров // Социологическое обозрение. 2002. Т. 2. № 3.
24. Леви-Стросс К. Мифологии. Т.1. Сырое и приготовленное. М.-СПб.: Культурная инициатива; Университетская книга, 2000.
25. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек - Текст - Семиосфера - История. М.: Языки русской культуры, 1996.
26. Огановский Л. Борьба за землю (индуктивно-статистическое исследование). Т. I. СПб: Кн-изд. "Труд и борьба", тип. Д.П. Вейбрута, 1908.
27. Поправко Н.В., Сыров В.Н. Концепция времени в социологии // Социологический журнал. 2000. № 1-2.
28. Титков А. Образы регионов в российском массовом сознании // Полис. 1999. Т. 3. № 6.
29. Уорнер У. Живые и мертвые. М.: Университетская книга, 2000.
30. Филиппов А.Ф. Элементарная социология пространства // Социологический журнал. 1995. № 1.
31. Филиппов А.Ф. О понятии социального пространства // Куда идет Россия? (III). Социальная трансформация постсоветского пространства / Под ред. Т.И. Заславской. М.: Аспект-Пресс, 1996.
32. Филиппов А.Ф. Гетеротопология родных просторов // Отечественные записки. 2002. № 6 (7).
33. Филиппов А.Ф. Теоретические основания социологии пространства. М.: Канон-Пресс-Ц, 2003.

*Шпакова Р. П. **

«ЗАВТРА БЫЛО ВЧЕРА»

Современная Россия включается в мировой информационный процесс, становясь частью объединяющейся Европы. Признаком такого включения является институционализация социологии, ее превращение в практически-прикладную область и теоретическую дисциплину. В плане функционирования и организации положение социологической науки в России вполне сопоставимо с ее положением в ряде лидирующих стран. Как и там, социология в России является элементом того уровня общественного производства, на котором выполняются информационные, управленческие, просветительно-познавательные и другие функции. Такова картина в общем виде. Ответ на вопрос о том, может ли их выполнять, зависит от качества самой социологии. Возникает и резонный вопрос о том, нужна ли собственная социология, а если нужна, то как она возможна.

К социологам обращены не только конкретные вопросы по поводу частных ситуаций, но и принципиальные – об общих тенденциях развития страны. Но социология – по разным причинам, в том числе далеким от нее, – не располагает возможностью даже приблизительно прогнозировать дальнейшее движение вообще. Парадные конференции и форумы, помпезно обсуждавшие уже якобы наметившееся становление гражданского общества, остаются далеко позади реальной картины. «Истину царям с улыбкой говорить» социологи не стремятся, тем более, что не знают ее, да и цари не склонны им внимать.

Отношение в России к социальному знанию всегда было настороженным, что подтверждает, например, судьба виднейшего русского социолога М. М. Ковалевского. Но, в общем, это отношение не всегда соответствовало подлинной опасности, исходящей от самого знания. В российском обществоведении социологическая наука никогда не была имманентной, органичной составляющей. Она была и остается продуктом западного общества, возникшим как ответ на его, западного общества, проблемы, его способом осмысления реальности, что и отразилось на теоретическом и прикладном арсеналах дисциплины. Ключевые категории – «социальный факт», «социальное действие», «взаимодействие» и прочий методологический инструментарий – разработаны в европейской социологической классике второй половины XIX – начала XX веков, в контексте господствовавшей тогда философской и мировоззренческой ситуации. Более того, они и сегодня являются ведущими, потому что в общих чертах этот контекст остается неизменным.

Именно об этом пишет современный историк социологии О. Рамштедт: «Но если оставить в стороне теоретические конструкции, сегодняшних социологов связывают с Зиммелем, Дюркгеймом и Вебером прежде всего основные предпосылки. Именно эти предпосылки и помогают понять, почему их теоретические конструкции должны казаться неподвластными времени» [4, S. 54]. Так, для современной социологии остается бесспорным тезис О. Конта о превосходстве Конта над Гегелем прежде всего в гносеологическом плане. (Можно напомнить здесь фрагмент письма Конта д'Эйхталю от 10 декабря 1824 г.: «Гегель несравненно ниже Конта».) Кантовский агностицизм остается незыблемым основанием. Понятие социальной аномии, как показывают современные исследования этой проблемы, в том числе и отечественные, мало продвинулось в своем развитии со времени Э. Дюркгейма и его позиции. Инструментом социального познания и по

* Шпакова Римма Павловна - доктор философских наук, профессор факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета
© Центр Фундаментальной социологии, 2003
© Шпакова Р.П., 2003

сей день признается «идеальный тип», теоретически разработанный Максом Вебером в соответствующей концепции, хотя и со многими ныне внесенными и нередко противоречащими друг другу коррективами. Веберу принадлежит ставшее классическим определение социологии как «науки, которая хочет понять и причинно объяснить социальное действие в его течении и проявлениях» [1, S.1]. Ему же принадлежит принятое также и в отечественной социологии определение предмета социологии – социального действия. Отечественная наука заявляет теперь о своей приверженности и веберовскому инструментарию – концепции идеальных типов.

Однако ни эти основные понятия, ни сама научная деятельность Вебера не ясны без представлений о той культурно-исторической толще, в недрах которой он созрел, без знания специфики немецкого обществоведения, историзма и его школ, идеологии общественных движений и политических доктрин, да и самой истории Германии. Категории науки разрабатывались в преемственности философских воззрений, в конкретном социальном и культурном контексте, в дискуссиях и противостоянии иным теоретическим направлениям, и потому они имеют вполне определенный ракурс и акценты. Сегодня дискуссионные параметры мало интересны. Другое дело, что сами категории ныне явно недостаточны. Они нуждаются в изменениях и дополнениях в связи с ростом научного знания, разложением национальных научных школ и т.д. Усилилась и критика в адрес основных категорий из-за сложности построения на их основе целостной концепции общества и общей социологической теории [см ., напр.:2].

Разумеется, в науке не может быть «немецких» или иных категорий социального познания национальной природы – они имеют значение лишь для изучения генезиса и истории науки. Вместе с тем в социальной сфере знания национальный колорит определяет выбор проблем, специфику их трактовки, стиль и динамику исследований. Механическое перенесение в отечественную социологию еще недавно третируемых советской версией марксизма основных категорий западной социологии означает перенесение вместе с ними многих действительно серьезных научных проблем, а с ними и противоречий, псевдопроблем, тех аспектов, которые некогда были важны, но теперь утратили свою актуальность и заменены в современной социологии Запада другими.

Так, во времена Вебера дискуссии, которые он вел с марксизмом, с теоретиками исторических школ национал-экономии, с Менгером, Штаммлером и др., были существенно осложнены методологическими и философскими проблемами обществоведения, выросшими в конкретных обстоятельствах. Например, нельзя вычеркнуть влияние на сферу культуры «кризиса в физике» начала прошлого века, который привел, в частности, к пересмотру философского содержания понятий, их границ и возможностей в процессе познания. По этой причине многие действительно важные аспекты формирования структуры социального знания остались вне поля зрения Вебера или хотя и были им выделены, но специально не разработаны – цели были другими. То же относится и к категории «социальное действие», которую Вебер рассматривал как ядро, «атом», по его выражению, историко-социального знания. Сам Вебер для утверждения своей мысли о номотетическом характере социальных наук, своих логико-методологических подходов смело провел реконструкцию категории «понимание» Дильтея и неокантианской контрверзы историко-социального и естественнонаучного знания. В результате «понимание», непосредственно связанное с категорией «социальное действие», как и последнее, оказывается обобщенной и усредненной величиной, что позволило заложить понятийный фундамент науки. Понимание, определяет Вебер, это «средне и приблизительно рассматриваемый смысл» [1, S. 4].

Западные социологи ведут модернизацию основных категорий. Так, наряду с веберовской версией «социального действия» на Западе возникли другие: феноменологическая, неопозитивистская, функционалистская и т. п., в том числе и марксистская. Какую версию выбирает отечественная социология, быстро объявившая «социальное действие» своим предметом, не ясно, тем более что действенного применения в ней этой категории не замечено. Нет убедительных доказательств того, что именно Вебер –

необходимый и достаточный лидер социологии в России. Во времена Вебера весьма успешной разработкой категориального и познавательного инструментария социологии занимался далеко не он один. Можно указать хотя бы на концепцию «нормальных понятий» Ф. Тённиса, ныне привлекающую пристальное внимание западных социологов, но остающуюся неизвестной и потому невостребованной у нас.

Есть еще одна сторона вопроса о заимствовании категорий. Вебер и его современные последователи на Западе выстраивают стройную и по-своему доказательную систему социального познания, в которой онтология, методология и гносеология органично связаны принципами Канта и неокантианства. В этом смысле теория социального познания Макса Вебера по своей целостности сопоставима с логически стройной и целостной теорией Карла Маркса. Отбросившая в одночасье марксизм и собственные плодотворные разработки в его русле, взявшая на вооружение ключевые категории западной социологии со многими присущими им сложными проблемами, отечественная социология должна внятно определить свои логико-методологические основания, их философскую природу, отношение к реальности и, соответственно, способность играть роль инструмента (инструментов) познания. Это и будет ответом на вопрос, «как возможна» социология, адекватное социологическое познание. Уместно напомнить позицию Эдуарда Бернштейна: отойдя от марксизма, он уверенно пошел на пересмотр своих основных теоретико-методологических позиций, марксистских по своей природе. Убедительно и мотивированно отказавшись от них, он смог предложить целостную концепцию структуры социальной науки и ее оснований.

Применительно к отечественной науке теоретическая социология сегодня – инородное тело. Имманентно возникнуть и развиваться в России теоретическая социология никогда не могла и не может – нет традиций, соответственно, нет преемственности. Теоретики западной науки сами разберутся в своих трудностях, что они и делают. Что же касается положения в отечественной науке, то сегодня ей не под силу предлагать свои теоретические схемы. Те редкие, которые существуют – слабы и вторичны, поэтому не конкурентноспособны, и нет повода для обид ряда наших соотечественников на то, что их на Западе не печатают. Ситуация сродни той, что складывается, например, в джазе – в принципе не может быть «русского джаза», точно так же, как не существует «американских» или «немецких» балалаечников. Есть исполнители, интерпретаторы, не более. На них смотрят с любопытством, но без участия.

А.Ф. Филиппов в ряде публикаций показал, что теоретической социологии в России нет. Но ее не может быть здесь в принципе, потому что социологическая теория – это продукт другой культуры, обусловленный историко-социально и изначально невозможный для российского бытия. Вместе с тем в своем серьезном и проблемном послесловии к переводу «Общности и общества» Ф. Тённиса он указывает на рутинность и скуку изложения истории западной социологии: был такой-то, сказал то-то, пришел другой и т.д.

Все правильно. Но и сегодня история западной социологии – экзотика, проблемы которой неожиданны для привычного в России стиля мышления и бытия даже в современных условиях. Все это рутинно и скучно при условии, что оно знакомо, привычно, понятно изнутри и исторически, и теоретически. Однако такого нет даже для студентов в европейских университетах, хотя там восприятие проблем идет существенно легче – материал понятнее, «роднее». И посему для ситуации в России нет оснований для проблемного пересмотра и проблемного изложения истории западной социологии – дай Бог усвоить основания науки, ее историю в лицах, фактах и трудах. Проблемное изложение можно давать для узкой профессиональной специализации, да и то для студентов, но не для вузовских преподавателей социологии, многие из которых – бывшие специалисты по мифическому уже научному коммунизму и с трудом сами воспринимают то, что преподают.

Несмотря на существующую ныне общность понятий и используемых методик западной и отечественной социологии, будучи примененными к российским реалиям, по своему содержанию они начинают требовать коррекции в соответствии с российскими

обстоятельствами. Так произошло с назревшими социальными конфликтами в России. В стране возникли лаборатории, центры, кафедры конфликтологии. Но опоздание налицо: они возникли тогда, когда само общество, сами люди путем проб и ошибок уже находили пути разрешения конфликтов, не ожидая и не дожидаясь рекомендаций со стороны социологов. Вообще же тема конфликтов в известной степени заимствована из конфронтационной по своей сути социологии М. Вебера. Современные западные методики их разрешения плохо применимы к российским реалиям. Не только конфликты здесь качественно другие, но и иными являются и общественные настроения, и интенции.

Еще больше осложняют дело расплодившиеся «самопальные» переводы трудов классиков и современных западных теоретиков. На корявый язык можно закрыть глаза, но нельзя не споткнуться например, о превращенную усилиями непрофессиональных переводчиков категорию «действие» в «поступок». В переводе других категорий разночтений еще больше. Идентичность терминов, адекватное прочтение научной классики и современности – одна из важнейших назревших сегодня задач хотя бы для понимания обсуждаемых проблем, а уж об их развитии пока говорить не приходится.

Пока еще не определен и феномен социологической классики в России, хотя есть сочинения, специально ей посвященные. Процесс «назначения» в классики идет легко и произвольно, столь же легко ставится и выносится на беглое обсуждение серьезный вопрос о пользе и вреде социологической классики. Категории одних западных направлений мешаются с категориями других, весьма далеких от первых, хотя никто сознательно не следует максимам постмодернизма. Это всего лишь облегченно-прагматичное использование текстов, имен авторов, их авторитета и т. п. Есть и замороженное, сродни религиозному, отношение к классике. Как будто об этих авторах писал П. Бурдьё: «Они видят в наследии сокровище, которое они созерцают, которому они поклоняются, которое они чествуют, тем самым повышая собственную значимость, ... как капитал, выставляемый напоказ» [3, С. 51]. Складывается ситуация, грозящая не столько утратой точек опоры и ориентиров, сколько хаосом научных позиций. И вместе с тем в российской науке перевес критики и отрицания старых подходов очевиден. Особенно эффектно смотрится концепция «конца парадигм». Разумеется, в науке вполне естественно прощание с классикой, но это происходит при условии зрелости науки, которая переросла свое теоретическое основание, ставшее для нее теперь всего лишь «подкидной доской», и которая уже готова к скачку на новый теоретический уровень, к переходу к новым идеям. В отечественной науке классика дрейфует между догматизмом и релятивизмом. Критика в ней сильна, сильно заимствование, однако до зрелости далеко, как и до собственных принципиально новых идей. Их нет, и это главное.

Но разве уже исчерпан весь репертуар исследовательских проблем и неразвернутых тем? Разве в недрах самой научной классики и ее новейших модификаций нет для нас ничего нового, а сама классика уже неспособна к освоению современного мира и российской действительности? Особенность классики – быть непрерывным импульсом для последующего развития не только своей дисциплины, но и за ее границами, определять основные теоретико-методологические принципы и темы в широком междисциплинарном исследовательском поле. И в этом смысле классика всегда не завершена, открыта не только для продолжения, развития и обновления, но и для ревизии – вполне естественной критической процедуры, аналогичной позиции упомянутого ранее Бернштейна по отношению к марксизму. Пример М. Вебера, классика истории, социологии, политических наук, философии также здесь показателен. Это же относится и к Конту, Спенсеру, Марксу, Дюркгейму, Зиммелю, Тённису, Зомбарту. На их идеях и вопреки им выросли теории Парка, Фуко, Бурдьё, Парсонса, Лумана и др. Эти же идеи в свое время стали питательной почвой воззрений Ковалевского, Сорокина, Тимашева и других русских теоретиков не только в области социологии. Эти же идеи сегодня – стимул дальнейшего развития научного знания.

Вопрос об отношении к классике обсуждается и на Западе. Влиятельный немецкий историк социологии О. Рамштедт в специальной статье «Обращение с классиками» пишет о

том, что именно Дюркгейм, Вебер, Зиммель смогли разработать «непревзойденные и по сей день образцовые теоретические конструкции», и «всякий новый теоретический проект в социологии теперь вынужден равняться на них» [4, S.54]. Вместе с классикой и вопреки ей – вот кредо современной западной социологии в ее отношении к наследию, выраженное П.Бурдьё [3, С.80]. Объективности ради надо сказать, что это достаточно простая мысль, содержащаяся в старой французской мудрости: продолжить – значит, обновить. Но она предпочтительнее других, более простых способов обращения с классикой – «превратить в икону» или отбросить. Так обошлись в сегодняшней России с Карлом Марксом. Качественного и полного анализа его воззрений нет. Создается впечатление, что оправдываются суждения русского мыслителя, историка науки К. Д. Кавелина, писавшего о своих ученых-соотечественниках, что они берут каждое учение особняком и по впечатлениям, ищут в нем догматическую истину, а не ответ на назревшие вопросы, они и перешагивают его столь же легко, как приняли.

Сами западные социологи критичны и к старым идеям, и к своим новациям. Более того, социологи Запада и сейчас не стесняются даже на национальных и международных конгрессах ставить и обсуждать исходные вопросы: что такое социология, как она возможна, как возможно социальное знание и познание и т. п. По сути, это комплекс вопросов, которые объединил в своем «наукоучении» Макс Вебер. Аналогичные публикации в России отсутствуют. Редкие суждения о предмете социологии отклика не вызывают и мало интересны. Сравнительный контент-анализ публикаций в научных журналах России и стран Запада безоговорочно свидетельствует о перевесе в последних теоретических сообщений. Российские публикации ограничены в основном анализом частных социальных сфер, а редкие теоретические сообщения построены на западных идеях или являются переводами. Западная социология, кроме того, берется в отрывках и частях, постигаемых и используемых в меру собственного понимания и возможностей приложения.

Одно время казалось, что выбор сделан в пользу русской дореволюционной социологии, но очень скоро стало ясно, что этот выбор ошибочен, поскольку сами ее идеи были производными от концепций западной социологии, а по сути, вторичными. Однако разочарование в социологической науке, бывшей в России до 1917 г., наступило не по этой причине, а в силу того, что намного изменилось время, ушли эпохи со своей тематикой и стилем социологизирования. Контекст современной реальности и науки иной, и возвращение к «истокам» сомнительно. Главное же в том, что историческое прошлое России к ее современному состоянию имеет мало отношения. Столь же малое отношение имеет к современной дореволюционная социология, которая и сама была зависимой и производной.

Нет смысла заниматься проигрышным делом – изобретением собственной теоретической социологии. Это заведомо «сданная игра» на чужом поле. Нет смысла заниматься и другой крайностью – превращать социологию в науку о мнениях и намерениях людей – вещах неверных и сомнительных. В свое время А. И. Кравченко в статье «Социология мнений и мнение о социологии» убедительно доказал бесплодность усилий на пути такого превращения [5].

Есть другие жанры, в которых отечественная социальная мысль традиционно сильна и практически действенна. Речь идет, например, не об академически добротном и строго выполненном исследовании, опубликованном в столь же академических журналах – «братских могилах», а о социологической пропаганде и публицистике, своими средствами влияющих на просвещение масс, их установки, массовое поведение. А это уже и есть объекты социологического анализа, работа с которыми приносит эффективный практический результат. Образцом такой публицистики является в России целая серия так называемых «физиологических очерков», регулярно публиковавшихся в массовой прессе XIX – начала XX века. Например, альманах «Физиология Петербурга», вышедший более 150 лет назад, содержал исследования о внешне непритязательной жизни простых людей, об их понимании социальных вопросов городского бытия и т.п. Но он и своими средствами участвовал в формировании жизненных позиций этих людей – основной массы населения России.

Авторами исследований выступали талантливые и влиятельные литераторы, публицисты, общественные деятели – В. Даль, Д. Григорович, И. Панаев, В. Белинский, Н. Некрасов и др. Этот сборник очерков получил огромный резонанс во всех слоях населения России, не только Петербурга. Публицисты, занимавшиеся социальными вопросами, были лучшими диагностами и учителями своего времени. Их влияние было связано не только с колоссальной ролью слова в России – здесь роль социологии часто выполняла литература, но и с той проблематикой, которую они изучали. Писатели и публицисты учили высоким ценностям жизни. Именно поэтому за свою просветительскую и воспитательную публицистику в 90-х годах XIX века В. Короленко был признан «совестью России». Но эта публицистика была одновременно исследовательской.

Она надолго прекратила свое существование, на короткий срок возродившись в 60-70-х годах прошлого века на волне хрущевской «оттепели». Еще свежи в памяти ставшие тогда сенсацией публикации И. С. Кона на страницах «Нового мира» о националистических предрассудках и их природе. Неизменно привлекали внимание аналитические и всегда актуальные статьи Л. Кузнецовой. Темы, которые она выносила на страницы журналов, например, популярной тогда «Молодой гвардии», касались многих. Так она обсуждала внутреннюю структуру и обыденную жизнь рабочих общежитий крупных городов – ведь в них выросло не одно поколение советских людей, да и сегодня число общежитий велико.

Со второй половины 80-х годов жанр научной публицистики, казалось, возродившейся, быстро заглох. Ныне, когда общество наводнили новые социальные типы, новые институты, ценности и установки новых лидирующих групп, исследовательская публицистика стала бы не просто продолжением великой традиции, но послужила бы целям воспитания и просвещения общества, его самопознанию и критической рефлексии. Вот сможем ли ...

Литература

1. *Weber M.* Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen, 1972.
2. *Тюрель Х.* Социология Макса Вебера – социология без «общества» // Макс Вебер, прочитанный сегодня. Санкт-Петербург, 1997.
3. *Бурдые П.* Начала. Москва, 1994.
4. *Rammstedt O.* Umgang mit Klassikern // *Soziologische Revue.* 1995. № 3.
5. *Кравченко А. И.* Социология мнений и мнение о социологии // Социологические исследования. 1992. № 3.